

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

12

НОВЫЙ МИР

2000

12

---

2000

### СОДЕРЖАНИЕ

НАТАЛЬЯ ОРЛОВА — И ветер и дым, стихи	7
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Уткомень, или Моление о Еве, роман	10
ВИКТОР ЧУБАРОВ — Грехопадение звезд, стихи	74
БОРИС ЕКИМОВ — Житейские истории	76
ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ — Подземные музыканты, стихи	91
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть третья (1982 — 1987)	97

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Холодная рука циклопа. Из дневниковых записей 1983 — 1984 годов. Окончание. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой	157
---	-----

#### МИР НАУКИ

«КОВЧЕГ ЖИЗНИ» НА СТАПЕЛЯХ ЭВОЛЮЦИИ. С биологом Ва- димом Репиным беседует Михаил Бутов	170
--	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА МАРЧЕНКО — Китайский маскарад на русской исторической сцене	185
МАРИЯ РЕМИЗОВА — Слишком человеческое. Некоторые размыш- ления о литературе non-fiction	192

#### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Ознобкина. Город радости и счастья	199
Виктор Куллэ. Упражнение в бессмертии	201
Сергей Бочаров. «Мировые ритмы» и наше пушкиноведение	203
Никита Соколов. Великое государево дело	209
С. Ларин. Неизжитое прошлое	211
—————	
Вл. Новиков. — Евгений Шкловский. Та страна	215
Галина Корнилова. — Наталья Галкина. Архипелаг Святого Петра	216
Сергей Шаргунов. — Милорад Павич. Ящик для письменных при- надлежностей	217

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АННЫ ФРУМКИНОЙ

219

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	227
Периодика (составитель Андрей Василевский)	230
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	241
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2000 ГОД	248
SUMMARY	256

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ВЫДВИНУЛА НА СОИСКАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА**

**КНИГУ АНДРЕЯ ВОЛОСА «ХУРРАМАБАД».**

Фрагменты книги печатались в журнале «Новый мир»  
(1997, № 8; 1998, № 7, 10; 1999, № 9).

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ВЫДВИНУЛА НА СОИСКАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**КНИГУ ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО  
«ПУШКИН. РУССКАЯ КАРТИНА МИРА».**

Фрагменты книги печатались в журнале «Новый мир»  
(1993, № 6; 1996, № 5; 1998, № 6).

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ПОДДЕРЖАЛА РЕШЕНИЕ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
ВЫДВИНУТЬ НА СОИСКАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА**

**КНИГИ ОЛЕГА ПАВЛОВА  
«КАЗЕННАЯ СКАЗКА» И «СТЕПНАЯ КНИГА».**  
«Казенная сказка» печаталась в журнале «Новый мир» (1994, № 7).

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН



## УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

*Очерки изгнания*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(1982 — 1987)

Глава 9

### ПО ТРЁМ ОСТРОВАМ

**А** затем азиатская поездка завязалась и сама собой. Летом 1981 мой первый японский переводчик Хироши Кимура написал, что будет в Штатах и хотел бы меня посетить. При встрече в Вермонте он поразил близким знакомством с сегодняшней советской жизнью, не раз там бывал, многих литераторов знал. От природы ли у него была такая вроде бы не-японская черта или сообщилась ему от касаний с русскими, но постоянно встречал я в нём — и все наши потом недели в Японии — открытую русскую сердечность. Я под секретом рассказал ему о намерении попутешествовать в Японии после Южной Кореи, просил его содействия: поездить вместе по острову Хонсю. Но ещё не было у меня чёткого плана общественных выступлений в Японии. Прошло с полгода — и вдруг Кимура шлёт мне (будто не сам затеял, а к нему обратились с поиском) приглашение от крупной японской газеты «Йомиури»: просят три моих выступления — по их телевидению «Нихон», по их же радио «Ниппон», статью в «Йомиури» о положении в СССР — и обязательно не сноситься с другими компаниями «медии». А за всё то — никаких хлопот об организации, автомобиль с шофёром для поездки по стране и немалый гонорар. Никогда прежде я подобного приглашения не получал — а все ведь именно так и ездят. Я охотно принял. И при таких заботах согласился на их просьбу переставить Корею на второе место, чтобы посвежу выступить в Японии. Позже они просили добавить в условие ещё дискуссию за круглым столом в «Йомиури». Я согласился. Затем — сменить выступление по радио на речь «к избранному кругу руководящих лиц Японии». Что же, как раз руководящих лиц и надо поворачивать. Считать выступление закрытым или открытым? (Разная степень откровенности и резкости выражений.) — Считать открытым, и будет 500 человек. — Отлично, согласен, лучше не придумать!

И я стал готовиться. Закончил Вторую часть «Зёрнышка», сед читать — к Японии и вообще к Азии. Для путешествия, для ориентировки — надо было много начитать, и всё по-английски, и делать выписки. Статью об СССР

---

© А. Солженицын.

Первая часть «Очерков изгнания» Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире», № 9, 11 за 1998 год, № 2 за 1999 год, Вторая часть — в № 9 за 2000 год.

японцы особенно требовали написать ещё до моего приезда в Японию, чтобы успеть перевести, не опоздать с публикацией. И «речь к руководящим кругам» была настолько ответственна, что я, конечно, должен был не только обдумать её заранее, но и дословно написать, лишь позже поправив на путевые впечатления. Полтора месяца ушло на всю эту подготовку, никогда я так не удалялся от своей основной работы.

Что могла быть за статья об СССР? «Как коммунизм калечит народы» (вообще всякие народы, но на примере СССР)? Я знал о том слишком много, но и слишком же много в разных местах об этом говорил, — не повторяться, хотя японцы, может, того ничего не читали. А наверно, надо дать очень сжатый, плотный и конкретный обзор сегодняшней жизни. Статья становилась не собственно моей, а компилятивной, как я никогда ничего не писал. Публицистической задачи я тут не решал, а — уплотнить всё огромное в малый объём, это я умею. (С годами наращиваются уже тысячи страниц в моих книгах, а всё же я считаю, что я лаконичен: по объёму втиснутого.) У «Йомиури» — 9 миллионов читателей. Материал должен быть доступный массам, очень конкретный, применённый к японскому уму-практику, и передавать советскую невыносимость, главным образом хозяйственную и бытовую.

А что с речью для руководящих кругов? Даже скромное изучение Японии, в которое я погрузился, выявляло мне три узловых точки их новой истории: начало эпохи Мэйдзи — крушение 1945 года — и то, что случится или не случится с ними в ближайшие годы, а назрело. Такое построение не далось мне трудно. Но трудно было русскому решиться — давать советы Японии, смею ли?

Сверх всего схватился читать и Пильняка, и Гончарова «Фрегат „Палладу”», не пропадать же опыту, кто когда из русских писал о Японии и о тех краях. И о Тайване прочёл книгу, Корею уже только едва схватывал, и времени не хватало до отъезда, и устал же от таких непривычных занятий.

Но более всего для меня было важно — попутешествовать по Японии вполне частно, чтоб не было шумихи, чтоб не обступали корреспонденты. Из Штатов летел со мной Хироши. При выходе из самолёта нас встретили от компании «Ниппон» и полицейские в штатском; и, стороной от публики, провели через «иммиграцию», мимо таможни — и вот я уже сижу в «мерседесе», рядом — директор радио «Ниппон» Кагехиса Тояма. Он оказался примерно мой ровесник. Из первых слов сказал, что не похож на японца, и действительно: высокий, не черноволосый, и глаза недалеко от европейского разреза; не уравновешен, чрезмерно энергичен, с резкими театральными движениями. Оказывается: до речи Хрущёва на XX съезде он был... коммунистом, а теперь — готов умереть в борьбе против коммунизма. Вскоре мы сидели у него в загородном доме, нам подали зелёный чай (жена его — только за прислужницу, как по традиции у японцев). Несколько приближённых членов фирмы сидели вокруг низкого стола по-японски, на запятках (с непривычки — впечатление подобострастия), а бездетный Тояма объявлял мне: «Вот они, мои дети, я завещаю им всё богатство». И это, видимо, соответствовало истине.

Тут мы касаемся тех особенностей японских отношений, где служебное и как бы родственно-семейное не разделены чётко: нечто семейное есть в попечении главы о своих служащих и в искреннем долге служащих к главе, а значит и к исполняемому труду.

Ещё до моего приезда Тояма уже расписал по дням всё моё месячное пребывание в Японии, более того: его друг и шофёр Мацуо (впрочем бизнесмен и богатый человек, непонятно почему он служил Тояме в такой роли, вероятно тоже вот эта полусемейность) объехал заранее — верх японской заботливости! — весь будущий мой маршрут и наметил и забронировал гостиницы. Но я сразу же обнаружил нелепость: предлагалось мне почти трое суток «отдыхать» в доме Тоямы, лишь затем поехать вместе с ним к бывшему премьер-министру Японии Киси, старику, домой. Я резко запротестовал: не хочу отдыхать, завтра же с утра я должен ехать к северу от Токио — в непарадные, не посещаемые туристами места. Тут произошёл мой первый истязательный спор с Тоя-

мой, на полтора часа: он доказывал, что менять график невозможно, и уже поздно заказывать гостиницы, а главное: нельзя так подводить полицию, ей сообщён точный график моих перемещений. Как??? — полиция будет всюду меня сопровождать? — так это не путешествие, я отказываюсь, я ничего не увижу! Новый взрыв спора, уже поздно к полуночи. (Вспомнил я сразу Гончарова: как изнурительно часами спорят японцы по поводу церемоний.)

Всё ж я настоял: поехали мы назавтра на север, и без всякого сопровождения, сделали петлю через Никко (не знал я тогда, что Колчак посещал Никко со своей возлюбленной — перед тем, как ехать на сибирское заклание), Фукушиму и вернулись к свиданью с Киси.

Этой встрече с Киси Тояма придавал большое значение, подчёркивая свою идейную дружбу со стариком. Сейчас тому было 86 лет. Как я потом узнал, Киси был один из главных создателей марионеточного Манчжоу-го. После войны, при Макартуре, больше трёх лет отсидел в тюрьме как «военный преступник» — но выпущен Макартуром при начале корейской войны, когда американцы схватились, где их истинный враг. С 1958 по 1961 был премьером, сейчас на правом крыле своей либерально-демократической партии и видный «протайванец». Я с интересом ждал встречи.

Поехали мы к Киси с переводчиком Нисидой, невысоким, невыразительно-равнодушным, прежде переводчиком Министерства иностранных дел (и Киси знал его, он переводил его встречу с Хрущёвым). Там застали и профессора Кичитаро Кацуду — обаятельного, седовласого. Говорил он по-русски стеснённо, но всё понимал. (Он подарил мне свою книгу по истории русской политической мысли с милой надписью по-русски: «это — памятник моего пыла юности» и портретами от Чаадаева до Достоевского.)

За ужином сидели впятером — одни мужчины, за очень большим (по-европейски высоким, нормальным) столом и на нормальных стульях; женщины (и жена Тоямы) не высывались из кухни, а обслуживали нас — официанты, в чёрных костюмах и бабочках, оказывается — из близкого тут «русского» ресторана «Балалайка». Подали очень правдоподобный «борщ», а второе переиначено японской разделкой овощей. Киси был достойный старик, но уже, кажется, за пределами действий. Я пытался взбодрить его, как преодолется беззащитность Японии, однако и как предают Тайвань? — он ничего существенного о том не выразил. Кацуда ярко рассказал, как его травят за «консервативные» мысли, студенты киотского университета выставляют во дворе плакаты с требованием, чтоб он извинился за какое-то место в лекции. (Уже и в Японии такое!..)

Ещё утром того же дня в Фукушима я был свидетелем впечатляющей демонстрации: несколько тёмных крытых грузовиков с динамиками громко разносили по привокзальной площади японские военные марши минувшей войны (увидя во мне светловолосого иностранца — при подходе устроили громкость), затем с фиолетовыми флагами поехали по городу, громко призывая всех вступать в их патриотическую организацию и добиваться возврата «северных территорий» — тех самых четырёх малых курильских островов. Болело это у них! Теперь у Киси я готов был к ответу об островах — но меня не спросили (из тактичности?).

Приехали к Тояме назад в половине двенадцатого ночи, я уже до смерти хотел спать — а Тояма завёл новое требование: чтобы я по возвращении из путешествия дал общую пресс-конференцию. Я отказался: подобного раньше не требовали, пресс-конференцию я вообще не признаю как форму, это не для писателя, не желаю спотыкаться вслед корреспондентам, кто куда меня поведёт. (А ещё же: не хочу растеребить по мелочам, опережая, — тезисы моих уже подготовленных выступлений.) И снова спорили до часу ночи. (Ещё — он сопротивлялся моему желанию побывать на школьных уроках, настаивал, чтоб я ехал на высоко технологичные промышленные предприятия.) На следующее утро мы с Кимурой и Мацуо продолжили путешествие.

Продлилось оно 12 дней. Доброжелательный и приметчивый Хироши Кикура много мне переводил и удачно сам догадывался, о чём рассказать.

А глазам открывалась страна со многими холмами и горами, ничем особо не выразительными; равнинная жилая площадь не просторна (к югу острова Хонсю пораскидистей), — и всё это застроено современными индустриальными зданиями и посёлками, безо всякого следа гнутых «японских» крыш — так что если только сменить иероглифные вывески на английские, то и не отличишь, какая это страна. И почти весь современный Токио я нашёл таким же безликим: город, построенный на редкость без чувства архитектурного единства, ансамблей, стиля. С переходом от прежних крохотных домиков к большому строительству не найдено крупных самобытных архитектурных форм. (Но освещён Токио не стандартно. Поразило одно здание: по многоэтажной серой стене то и дело местами — редкими, и в этом прелесть, — вспыхивают отдельные серебряные точки — и погасают, а новые — в новых местах. Это и не реклама, и что хотят выразить — неизвестно. А хорошо.) — Перед городком Курашики видели наклонный (с тем и построенный) дом — гораздо наклоннее башни в Пизе. И ряды окон — наклонны к земле, а друг другу параллельны. Как там люди живут?..

Обычно в Японии сентябрь погожий, но в нашу поездку почти не было солнечных дней, а всё дымка, смог, тучевое небо и духота. «Необычайной японской сини» (Пильняк), или «такой ясной погоды, какой в России не бывает» (Гончаров) — я не заметил за месяц ни разу. И птиц не слышал, кроме противных (на свой, не наш лад) ворон. — В парке Нары вместе со всеми гладил доверчивых оленят (бродят сотнями). В японских городах не удушены велосипедисты, но разрешено им ездить даже по узким тротуарам — и насколько же это не мешает пешеходам. У магазинов велосипеды стоят многими десятками, все с приделанными корзиночками, никому не мешают. А магазины, как всюду и в западном мире, переполнены и множеством необходимых, и множеством лишних вещей.

Зато, по соседству с недошедшим тайфуном, мы были застигнуты на подъёме к Хаконе — водяной пургой, не знаю, как иначе назвать, никогда в жизни не видел. Как у нас бывает снежная пурга, когда крутит и ни зги не видно, — так налетела с жарой и закрутила пурга водяная: водяные капли густо неслись и крутили наось, а не падали как дождь — и это с волнами кипящего тумана. Как Мацуо-сан довёз нас по витой горной дороге — удивляться надо, не видно было фар встречных машин (ещё ж и левостороннее движение, нас оно нервирует с непривычки), — и вдруг на последних двухстах метрах перед гостиницей всё очистилось так же внезапно, как началось.

В гостиницах японских — многому поразишься, как они сохраняют своё исконное. Уже перед дверью низко кланяются мужчина или двое. А за дверью на возвышенном, через порожек, полу — уже трое, пятеро, а то и семеро женщин (изобилие женской челяди в гостиницах, нельзя представить, как оно окупается) в будничных кимоно в ожидании нас уже стоят на коленях, и едва мы у порога — кладут ладони на ковёр и молча кланяются нам земно: в благодарность, что мы снизошли остановиться в их гостинице? (Так же и при провожании из гостиницы каждого постояльца — выстраивается для поклонов вся прислуга.) Перед порогом мы непременно снимаем ботинки (ботинки каждого запоминают, никогда при выходе не подадут чужих), надеваем какую-нибудь пару из выстроенных шлёпанцев, без задника. Все вещи, какие несут постояльцы, хоть и мужчины, и самое тяжёлое, — перенимают служащие женщины и несут. (Я всё отбивался, не давал.) Прошли коридорами гостиницы (если по пути надо пересечь двор — то ещё раз сменить шлёпанцы на наружные и потом снова на внутренние), перед новым возвышением самой комнаты, перед раздвижной перегородкой — шлёпанцы надо вовсе снять и остаться в одних носках на чистой цыновке. (И сколько бы раз к какому бы месту ни возвращаться — чья-то невидимая рука уже успела повернуть твои шлёпанцы носками вперёд — как удобнее тебе снова вставить.) А внутри номера — при

переходе в ванную ещё новые шлёпанцы; при переходе в уборную ещё свои. (Уж о сквозной, сквозной чистоте — и поминать даже не надо.) И каждому новому постояльцу выложен выстиранный халат с широкими рукавами, принято тотчас переодеваться. Ходить около гостиницы и в столовую — принято в этих халатах. Немедленная процедура для гостей — приносится зелёный чай (со странными японскими конфетами), потом на низкий стол подаётся многоблюдный ужин (ничто не вносится на полном росте прислужницы, но всегда она присаживается на пятки перед перегородкой, отодвигает её, передвигается на коленях, переставляя и блюда, лишь в комнате ей уже можно подняться. Бывает так: одна — только подаёт, другая (старая, в строгом чёрном кимоно) только наливает вино и занимает разговором. После ужина этот стол сдвигается в сторону, на полу посреди комнаты стелется постель и показывается постояльцу — так ли всё постелено? надо кивать благодарно. И по полу же к постели приставляется ночной светильник. На ночь японцы принимают ванну — и притом нестерпимо для нас горячую, и притом почти стоячую, глубокую (прежде это был деревянный ящик, теперь из современных материалов). Ванна заранее уже налита, приготовлена.

В этой многовековой неколебимой обрядности, которую не сотряс даже XX век (и Хиросима), — ещё ли бы не загадка! Загадка в ней самой, но ещё более — в японском характере. И не мимолётному путешественнику в те загадки вглядеться.

Из-за бумажных стен гостиница прослушивается, как и всякий японский жилой дом, — вечером долго слышны разговоры, ходьба. А ещё каждый японский дом старается вечно слышать шум текущей воды — и где нет ручья, там хотя бы сочилась вода из трубы, падая в каменную углубину, — и всё-таки плеск.

В комнатах, вестибюлях — много заботливой красоты, раскреплённой по мелочам, уже даже избыточной, неоценяемой? невозможно всё охватить по нашей динамичной жизни: какая виньетка на стене, какие цветы стоят в вазе (и как расположены! — это у них сложное искусство «икебана», многолетне изучаемое), иногда в нише с отдельно для неё зажигаемым светом, иногда только одна хризантема в отдельной вазочке. То в ванной замутнённое стекло украшено лилией. На чёрном лакированном шкафу горельефная резьба. То в спальне на двух стенах висят — не картины, а скорей плакатики из иероглифов. Один золотой: «Собирается 8 счастливых» (цифра «8» у японцев — много счастья). Второй — вертикальный голубой с кистями, а надпись: «Если люди знают свои годы — то не знают печали» (из китайской классики, для японцев литературная высшая классика — китайская). В каждой гостевой комнате есть почётное углубление — токонёма, всегда украшенное чем-нибудь, и главный гость садится к столу именно с этой стороны. (И музыка — во всех общественных местах или классическая, или приятнейшая лёгкая, и всегда тихая, ничего похожего на американский ужас. И японские книги — табакерки, сравнительно с американскими кирпичами.)

Очень запомнилась гостиница близ Хаконе — Кан суи-ро («Среди зелени»), — в густом лесу, и ещё отдельный павильон, где нас поместили; по преданию тут, у прежнего хозяина дома, как-то останавливался император — и для одной ночи ему выстроили всю эту красоту. Полная тишина — и вечный шум воды, ручей протекает под зданием. Павильон окружён японским садиком — кусты мирта, азалии, между ними — витые каменные дорожки со спусками, подъёмами и переходами через ручей — где мостиком, где переступным камнем. Под ногами — то крупные плиты, то небольшие вбитые камни, то просто насыпанная галька. В потоке и заводях открыто привольно плавают крупные карпы. Местами расставлены каменные фонарные столбики «пагодной» формы.

Искусство малых садов — особое японское искусство — и крохотные водопады, и карликовые деревья, и мохотравные садики, и просто «каменные сады»: камни разных форм, одиночные и группами, возвышаются над галечным полем — вот и всё, но долгая пища для глаз и размышления. Такие ка-

менные садики, даже два метра на два, устраивают и в городах при доме, где нет участка, земля дорогá — и всё же место для отдыха души. И где нельзя устроить течения воды — то поток изображается галькой — как в садике «Любоваться луной» при большой статуе Будды в Камакуре. А уж где реальная вода — всюду во множестве крупная разноцветная рыба, а то и утки. И во всех (коротких) реках всюду крупная рыба, и в пруде перед императорским парком в центре Токио, и даже в малых городских канавках, как в Цувано (сетчатые перегородки держат рыбу на участке своего дома). В Токио построили на малой площади новое четырёхэтажное здание «Нихон-ТВ», но при этом сохранили рядом японский садик, с водоёмом, с отдельным чайным домиком для чайной церемонии — и ещё даже, при земельной тесноте, сумели под садиком в земле расположить очистное сооружение для воды главного здания — так, чтобы воду можно было пить из крана. (Это удобство — у японцев часто.)

К чему я за весь японский месяц не мог привыкнуть — это к их еде. Не говоря уже о том, чтобы управляться палочками (обе в одной руке, и, как челюсти крокодила, нижняя не движется, а только верхняя), но к самой еде: ни даже рис (совершенно сухой и безвкусный), ни даже вермишель (оливкового цвета, из гречневой муки), ни один их соус, ни одна подливка, а что уж говорить обо всей морской пище — омарах, креветках, моллюсках, и даже если рыба — то сырая. Конечно, я был несправедлив, наверное, можно было отбирать, но даже куски простой курицы, как-то особенно изжаренной в кипящем жиру, я не мог признать за знакомое. Меня всюду преследовал запах сырой рыбы, где, может, его и не было; когда уже и мясо подавали — так и оно, вроде, пахло рыбой; да и все помещения; а на народном гуляньи близ водопада Кегон такой густой тошнотворный запах из «обжорного» ряда, что еле пройти. Около озера Чузенджи девушки, сидевшие рядом, угостили нас домашними пирожками — я еле съел, мне казалось, что они жарены на рыбьем жире. Говорят, «японцы едят глазами», это правда: каждая еда прежде всего сервирована для глаза, множество кушаний малыми порциями разложены то на фарфоровых пластинах изощрённой несимметричной формы, то в богатых плоских, мисочках (тарелок наших не бывает), как натюрморты, то три предмета, то пять. Вот — на трёх чёрных камешках-гальках — раскрытая ракушка, приготовленная к поеданию содержимого; на листке фольги — щупальцы как бы рака с черепушкой головы. Даже когда утром подадут к пиале зелёного чая одну кислейшую сливу, и больше ничего, — и то мне казалось бессмыслица. В Японии я открыл, что нельзя полюбить страну, если ты несродни к её еде. (Живя в токийской гостинице, я малодушно заказывал простую европейскую яичницу.) Да ещё ж — и сидеть надо на затекающих поджатых ногах; скрестить ноги по-мусульмански (куда к нам ближе!) — уже развязность, а уж распластать их по полу вбок или вперёд под низкий стол — совсем неприлично (но именно так я то и дело вынужден был делать). А к чайной церемонии я заранее вёз большую симпатию: это искусство превратить самое повседневное занятие в наслаждение жизнью, покой душ и символ дружбы! — но когда первый раз мне подали при храме этот особый горько-зелёный, невыносимо густой чай с непроходящей пеной (взбитой кисточкой) — то только эту первую пиалу я из уважения одолел, и никогда больше не потягивал предложенное.

---

Осмотр храмов, храмов и храмов, синтоистских и буддистских, как-то невольно составил стержень нашей поездки: это именно те заповедники, где стуже́нно отстаивается японская древность, не потревоженная современностью, где Японию не спутаешь с другой страной. (В одном Киото, говорят, больше 2000 храмов? — больше, чем церквей в старой Москве?) Правда, в памяти все эти храмы — и названия их, и особенности построек — быстро перемешались, и даже к концу поездки я только мог различить их и вспомнить по дневнику: где и что́ был Хаконе-джингу, Исе-дай-джингу, Касуга-джингу, Хейан-джингу

(джингу — синтоистский храм), Хаорью-джи, Тошо-дай-джи, Якуши-джи, Тен-дю-джи, Нинна-джи, Риоан-джи (джи — буддистский храм), То-шо-гу, Дай-кото, Дай-буцу. Названия храмов — иногда по личностям, а чаще значат: Храм со многими фонарями, Большой Восточный, Храм дракона неба, Храм драконов, Храм священной чистой воды.

Осталось общее впечатление и главное различие: синтоистские храмы — эстетичней, изящней, легче, буддистские — тяжелей и огрублены статуями, хотя и синтоистские не без них: устрашающие оранжево-красные великаны-сторожа у входов. Ни чрезмерная резьба, ни смешение ярких цветов (красного с зелёным, с золотым) как-то не вредят синтоистским храмам, выручает неизменный японский вкус. На подходе надо омыть руки из черпачка, потом обычно идти прямыми долгими ступенчатыми всходами, мимо какого-нибудь священного кедра, посаженного в IX веке, а теперь обвитого для стяжки толстым канатом; мимо «омикудзи», лотереи Бога, — стояка, на котором вешают бумажки желаний, как скрученные папильотки, или дощечки, продаваемые тут же. Пространство вокруг синтоистских храмов обычно засыпано некрепленой галькой, которую не без усилия промешиваешь ногами, — осмысленное замедление. Вход в главное помещение храма (алтарное направление — на север) — всегда в тапочках, ботинки оставляются снаружи либо берутся с собой в хлорвиниловую сумку и таскаются. Иногда создается впечатление, что это уже не святыни, что храм обращён лишь для туристского показа, через них только шаркают экскурсии. Но нет, вот мелькнул в оранжево-белых сарафанах *мико* — невинные девушки, служащие при храмах в помощь священникам, а вот и священник — в белом кимоно и сиреневом обмоте как бы юбки. Вот глухой барабан сопровождает молитву за тех, кто пожертвовал деньги, вот и общее моление: под чтение сидят на пятках, потом как по команде кланяются и дважды хлопают в ладоши — тоже способ привлечь внимание божеств. Но нет единого Бога, ни даже божеств, обожеествляются предки и сама природа, души предметов. Странно услышать в храме и смех — но у японцев смех входит в речевую манеру.

Вот такой видится религия — набор поверий, примет и призываний об удачах...

Большой синтоистский храм в Исе связан с императорской семьёй и считается настолько центральным, что когда-то было: каждый японец один раз в жизни должен здесь побывать. До Второй Мировой войны и каждый новый премьер-министр со всем своим кабинетом приезжал сюда представляться, но послевоенная конституция запретила смешивать политику с религией, и обычай прекратился. К храму долгий путь по парку (и всё увязая в гальке) — мимо весьма причудливой площадки для священных танцев, дворца священной музыки. А сам храм: на каменном основании просто старая веранда под соломенной крышей. Но оказывается: этот главный храм (или ещё какие тоже, я не понял) не может находиться на одном месте больше 60 лет, через 60 лет его должны перенести на другое место, хоть рядом. Так и сейчас строится другой рядом. А брёвна старого пойдут на использование в одном из 120 отделений (по всей Японии) главного храма. Очень тут выражено японское сознание всеобщей недолговечности — страны, сотрясаемой землетрясениями, тайфунами и где излюбленная красота цветения вишни облетает в час от внезапной бури.

В Киото я видел маленький храм, где невесты молятся о хорошем женихе. Так же привязывают бумажки желаний, а потом вывешивают благодарности об удавшемся замужестве. На площадке перед храмом такое гадание: девушка замуривает глаза и осторожно идёт, пытаясь выдержать прямое направление, около 15 метров (а подружки что-то кричат сзади), — если не минует, наткнётся на узкий стоячий камень, то любовь её исполнится.

В Наре, в синтоистском храме, довелось мне увидеть церемонию освящения семидневного ребёнка. Приходят родители, обе бабушки и оба дедушки, и маленькие братья-сёстры младенца. На лоб его наклеивают косо-крестообраз-

но какой-то красный пластырь, окутывают специальной белой пелеринкой — и дальше его держит только бабушка по матери. На крытой веранде перед как бы алтарём все родственники садятся на подогнутые ноги, на пятки. Сбоку — два священнослужителя в золотистых халатах и чёрных шапках. Перед ними — вроде барабана, иногда постукивают, иногда на струнном, вроде зурны, иногда хлопают дважды в ладоши. Но главная фигура — мико, вся в белом, да ещё попалась стройная и хорошенькая (не все они такие) и потому особенно впечатляет, что она делает. То становится на колени, лицом к алтарю, воздевает тонкие оголённые руки к небу, с немой просьбой о судьбе этого маленького (выразительные, художественные жесты). То встаёт, медленно поворачивается к сидящим — это всё вид строгого танца, ответственно каждое движение и отрешён взгляд. То откуда-то взяла золочёную погремушку, вида человеческой головы, — и с нею в правой руке производит полуповороты, двумя распротёртыми руками как бы передавая младенцу уже полученное благословение небес. Время от времени сбоку поддерживают зурной, ладошами. Родители кланяются. Мико входит в алтарь. Потом священнослужитель тоже идёт в алтарь и оттуда выносит подарки, какие-то шкатулки одна на одной, чашу. Что-то даётся родителям. А бабушка с младенцем (он не плачет) всё время торжественно-неподвижна.

Так синтоизм служит японцу для всего радостного. А для всего горестного и для смертного обряда — буддизм. (В Японии все кладбища только буддистские, других нет.) Это поражает: одна и та же нация, одни и те же люди исповедуют в разных случаях жизни две разные религии. Обнадёживающий ли это признак для будущего человечества или признание недостаточности обеих религий?

По содержанию буддистская религия несравненно глубже, но по исполнению кажется холодной синтоистской. В полутьме буддистских алтарей, иногда под узорчатыми шатрами — нагромождение статуй, самого Будды и его учеников, большей частью — давящее ощущение, особенно этот избыток величины, количества (18 рук, 30 рук). Буддистское учение выше и своих храмов. В некоторых храмах ощущаешь, правда, грандиозность, как То-дай-джи в Наре, самое большое в Японии деревянное здание. Перед храмом, как почти всегда, — курильница, горячая зола в большой чаше. Покупают тонкие стержни, тоньше наших тонких свечей, поджигают их от уже тлеющих и вставляют в золу. Но запах — не благовонный, до ладана далеко. (В некоторых храмах ребятишки держат над курильницей свои шапчёнки: от окуренной станешь умней.) В храме горят и настоящие свечи. К большой центральной фигуре преогромнейшего сидящего бронзово-чёрного Будды поднимаются ступенями черномраморные скамьи жертвенника. На нём на разных уровнях: ещё крупные свечи горят, горки свежих фруктов, букеты цветов. В храме висит гонг, и посетители бьют в него ударником по разу, по два, чтобы пробудить Будду и напомнить ему о своих желаниях. Бросают монетки в решётчатую крышку большого ящика. (Когда буддисты молятся — они строго, но недолго стоят перед фигурой Будды, сложив ладони пластинкой от груди вперёд.) — Есть в том храме одна колонна с пробитым в низу её прямоугольным лазом — только-только пролезают дети лет до шести (родители специально привозят их), — на счастье жизни. Часто рядом с храмом стоят и отдельные пагоды — по 3, 4, 5 этажей гнутых японо-китайских крыш. На пагодах не звонят, но они напоминают наши колокольни этой своей многоэтажностью: издали видны, чтобы людям напомнить о вере. Большой колокол иногда висит во дворе храма под отдельной обвершкой, как у нас колодезная. Под Новый год в него бьют 108 ударов — чтобы 108 известных по буддизму человеческих мучений ушли из мира. Иногда мелькнёт знак свастики — на барабане, на стене: свастика — знак счастья, благополучия и плодородия в Юго-Восточной Азии. В Киото храм Сайхо-джи, известный своим окружающим моховым садом, нам посетить не удалось: туристы вытаптывают мох; можно только присоединиться, и не сразу, к

двухчасовой процессии молящихся. Уважаю такой отказ! уже все храмы превратили в проходные.

Бывает и так: Дай-буцу (Великий Будда) — статуя метров 20 высоты, широкоплечая, из позеленевшей меди, высится отдельно, без храма, руки покойно сложены на подвёрнутых коленях. Сзади в фигуру зачем-то вход — через подземный тоннельчик и потом витую лестницу. Посетители бесцеремонно бродят внутри святой статуи, пробуют рукой нагретую солнцем бронзу, смеются. В Камакуре есть и такой храм — Тоокей-джи (Храм радости Востока), куда жёны бежали от мужей, если было им нестерпимо, и отсюда муж не мог возвратить. (Потом иные становились монахинями, другие возвращались в мирскую жизнь, значит — и к другим мужьям.)

Но есть и такие храмы (Нонна-джи), где вовсе нет буддистских статуй, а вдруг — комнаты с японской живописью, это непередаваемо даже и в поблекшем виде — как они утончённо и ритмично изображают стволы деревьев, ветви, птиц, животных!

Перед многими храмами, и синтоистскими, и буддистскими, — вереница ларьков с сувенирами и священными предметами, охранными талисманами для хорошей карьеры или сувенирами для туристов, которые невозможно даже оглядеть, не то что перечислить (веер, исписанный буддистскими истинами). Но что делается с этими ларёчными рядами в момент храмового праздника! — добавляется ещё множество ларьков с игрушками, сладями, обжорствами. — Вот проходит рядом торжественная процессия из 30 священников — а неумные игрушечные зайцы громко стучат в барабаны, и продавец не останавливает их.

Такое празднество мне случайно досталось увидеть в Камакуре: было 850 лет от рождения какого-то известного священника какой-то буддистской ветви. Сперва ещё по городу мы увидели предварительное шествие монахов в чёрных рясах и широких соломенных шляпах, затем близ самого храма Каомио-джи (Храм ясности света) мы застали это шествие священников в фиолетовых ризах с белыми подшейниками и золотыми накладками на плечах. Впереди процессии — несколько мальчиков в шапочках, тоже фиолетовых. Передний священник постукивает в малый колокольчик, несомый в руке. Затем — два молодых монаха в чёрном на каждом шагу ударяют в плитчатую дорогу высокими жезлами чёрного металла. Потом идёт священник с чёрной малой дымящейся курильницей. Ещё — с белой метёлкой или, сказать бы, гривой. Почти все остальные — со стекловидными чётками или веерами. К этому времени внутренность главного храма изукрашена золотыми свесами, золотым балдахином и ещё многими непонятными предметами. Вокруг центрального помоста с трёх сторон сидят на подогнутых ногах верующие — больше старые, обоего пола, они не шевелятся час и другой, но и не поют вместе со священниками. Густо курит по всему храму большая курильница от главного входа. Уселись на помосте на подогнутых ногах и 30 священников, и так же не шевелятся, едва ль не часами. Старший священник в белом трубчатом (как горизонтальный изогнутый лист) головном уборе сперва постукивает палочкой по предметам, попарно подносимым мальчиками, как бы отпуская их. Потом надолго всякое движение прекращается и лишь тянется заунывное пение священников, иногда какой-то постукивающий звук.

Итак, вот — несомненное богослужение. Но ото всех посещений синтоистских, а особенно буддистских храмов охватывает ощущение крайней чужести и пропасти между нами, которой я не ожидал, когда ехал в Азию, я полагал — они всё-таки ближе нам. В чём смысл рас? В чём замысел Божий? А жить нам — на одной планете, и надо друг друга понимать. Никогда нам по-настоящему не сойтись — и смеем ли мы претендовать обращать их в свою веру? Я думаю — нет.

А вот в Токио пошёл я и в православный, мощный, Воскресенский собор на литургию — и хочется ответить: а кажется — и да? Вот те же японцы — три священника, два дьякона (и голос прекрасный, представляется: «я —

Иван»), несколько десятков прихожан, вся служба и пение по-японски — а забирает теплота: не так, как до сих пор повсюду. Умильно видеть японцев в православном храме и слышать наши песнопения на японском. Очень душевная служба тут. (Христианство в форме католичества проникло в Японию к середине XVI в., но через несколько же лет, в 1558, было грозно запрещено, со смертными казнями христианам, а все миссионеры высланы. Когда, через три века, в 1861 в Японию прибыл из России иеромонах Николай, будущий «Апостол Японии», — смертный запрет на христианство был в силе, и японцы боялись даже давать миссионеру уроки японского языка, а первые тайнообращённые подверглись жестоким гонениям. Однако, в духе новой эпохи Мэй-дзи, с 70-х годов наступила свобода вероисповедания, Николай стал епископом, в 80-е возведен был этот собор, а в русско-японскую войну православные японцы уже деятельно оказывали помощь русским военнопленным, изумляя их самим своим явлением.)

---

Я ехал в страну с надеждой, что мне будет внят японский характер: его самоограничение, трудолюбие, способность глубокой разработки в малом объёме. Но странно: в Японии я испытал непреодолимую отдалённость. Пойди их пойми. Не растворяешься в теплоте. Не растапливает сердца и преобильная японская вежливость. (А поражаешься часто: в парке застал нас дождь, мы сели на перила крытого моста. Вдруг видим: идёт наш таксёр с тремя зонтиками, ищет выручить.) Странна и эта речевая манера — много смеяться в неподходящих местах разговора: ждёшь японцев невозмутимо-ровными. В экскурсионных массах японцев замечаешь преобладание не-тонких лиц (особенно почему-то — среди мальчиков-гимназистов). И полны жестокости их ежедневные телевизионные фильмы, уж не говорю о военной борьбе. А вот — на улицах никто никого не грабит, и ночью может безопасно идти одинокая женщина. На обложках журналов есть приятные девичьи лица, но нет ни раздетых, ни полуодетых: цензура. И ещё посегодняя две трети браков заключаются по воле родителей. И японский таксёр возвращает владельцу забытые в такси 2 миллиона йен (8 тысяч долларов). Одна из самых нравственных стран?

Восхищает: насколько ещё устойчиво хранится духовный мир Японии от размётного дыхания современности.

Но и жалко их в их нынешней беззащитности. В дождливый день на пешеходных переходах Киото — толпа покачливых хрупких цветных зонтиков. Ах, не добрался до вас коммунизм, забудете вы свои и зонтики! Да у них и окончившие (бесплатно) военную академию вдруг решают: «не хочу быть офицером!» — и уходят на гражданку...

Наиболее симпатичны, как и во всех народах, крестьяне. Их мало сохранилось, больше старики, а молодые работают в городах, и на клочки рисовых участков если приезжают помочь, то в воскресенье. В деревнях на севере острова ещё встречаются старые соломенные крыши (но с телевизионными антеннами), а чаще железные. В самые глухие деревни — асфальтные подъезды. В деревенских домах — довольно сарайно, и, как у нас, хранится всякая устаревшая утварь, которую хозяевам жалко выбросить. А рядом с новым телевизором — изящная старина: лакированные шкатулки, статуэтки.

Не пропустили мы и красот природы и архитектуры. Видели водопад Кегон — белопенистая струя в скалах высотой 97 метров и в секунду падает 10 тонн воды. (Четверть века назад молодой студент кинулся сверху, — японцы нашли это самоубийство «философским», сыскалось немало подражателей — и теперь в нише подходного коридора стоит статуэтка Будды в память всех этих покончивших.)

Что бы из этого всего я мог узнать, уловить без постоянных объяснений Хироши, очень умно рассчитанных, умело выделяющих — и что вообще непонятно иностранцу, и что может быть особенно интересно мне.

Среди общей хрупкости японских конструкций — поразишься настоящему замку (Хакуроджо, замок Белая Цапля), построенному в 1333 году. Гора среди равнины, основание замка до верхнего двора и первые этажи — крепчайшие каменные стены и откосы (скреплённые каким-то масляным составом), тут и артиллерией не возьмёшь. А выше, в несколько этажей — деревянные надстройки с японскими гнутыми крышами, в этот раз серебристо-белыми. Внутри — дубовые полы, дубовые стенные панели, выставлены рыцарские латы и шлемы с рогами. (Как-то не ждешь всего такого в Японии. Хироши, «Кимура-сан», позже, дома, надевал при мне доспехи своего прадеда-самурая — угрожающее впечатление.) На всех этажах замка — бешеный ветер в окна и дальний обзор. (И у каждого посетителя в руках — свои ботинки в хлорвиниловой сумочке, на все этажи надо карабкаться в шлёпанцах.) На 6-м этаже — миниатюрный храм (домашний алтарь), принесенные верующими дары, — и желающие могут поставить себе в тетрадь красную печать с изображением замка. (Я — поставил, конечно.) Среди замковых построек — отдельный дворик и зданьце — «харакири-мару» (тут — делать себе харакири). — В Киото видели мы и Золотой павильон — из красивейших зданий Японии, если не символ её, изумительные пропорции. Правда, ждешь несравненного и в красках, а они сильно поблекли. Вообще-то павильон — уже восстановленный: подлинный был некогда сожжён молодым честолюбивым священнослужителем, свой Герострат. Другое название места — «шари-ден», «священное место, где сохраняются кости» Будды (они — во многих азиатских странах, да по несколько).

А из самых сильных впечатлений красоты была — ловля раковин с жемчугом в Тоба. Ныряют девушки в белых одеждах — (тут глубина 6 метров, бывает и больше) — ныряют надолго, в остеклённых масках, чтобы держать глаза под водой открытыми, но почему-то без аквалангов. Нырок художественный: уже находясь в воде, они подымают нижнюю часть тела и ноги ровным столбиком в небо и уходят в воду вертикально. Долгий перехват дыхания изнури-телен, требует тренировки, не сразу вздохнёшь и после него. Вынырнув, они, привязанной к поясу верёвкой, подтягивают свою большую плавающую корзину и кладут в неё добытую ракушку. (Глядя на жемчужные украшения, вспомнишь эти перехваченные дыханья.)

С «жемчужной дороги» по берегу — видишь «жемчужные острова» — маленькие, горбатые, а во всех заливах — плоты-плантации жемчуга. (Под ними в воде подвешены корзины, где растёт жемчуг, и во время даже тайфунов как-то они уцелевают.)

И ещё поразил городок Курашики, изобилующий музеями и лавками народных ремёсел. Ему 400 лет, весь продуманно устроен, как внутренность одного дома у хозяев со вкусом. Извивчивая река обсажена ивами и одета в чистенькие каменные набережные. Тут и все музеи, и лавки, и за низкими столиками там и сям сидят гадалышки (по дню рождения и имени — исписывают иероглифными столбиками расчётов), а где продают нехитрое домашнее мороженое, а где и молодой рикша ждёт покатасть туристок. Домики удержали перед собой палисадники по 50 сантиметров ширины — и там у них садик растительный или каменный. В лавках — керамика, хрусталь, литё иковка, медальоны, лакированные и плетёные вещицы, плетёная мебель, изрисованные подносики, связки для ключей, шкатулки под замочками — искусство всех видов, не переглядеть. Разрисовывают тарелки и тут же их обжигают. Вдруг через боковой переулок попадаешь к домам и стенам, сплошь заплетенным плющом. — Как будто не в Японии: аркады, торговые пассажи, среди квартала кирпичных зданий — мощёная кирпичом площадь, метров 60 на 60, стоят алюминиевые круглые столы, плетёные стулья, как в Венеции, — и тут досматриваешься, что именно как в Венеции площадь обрамлена каналом. А то через маленькую калитку неожиданно попадаешь в замкнутый дворик малень-

кого буддистского храма с массою каменных стоячих фонарей (без огней) — и в полном вечернем безлюдьи по склонам горки вверх видишь наросшее множество каменных надмогильников; а по ступенькам горы поднявшись выше пагодки с гнутою крышей — ещё успеваешь увидеть с вершины кладбища тёмно-красное послезакатное небо.

Тут сразу меня узнала дочь хозяйки гостиницы, столичная студентка, — и к ужину нашему пришла хозяйка, удивительно интеллигентная, тонкая, умная старушка в очках. После традиционного земного поклона с колен — рассказывала о далёких годах этого города, как в её детстве река была вдвое шире, а набережная совсем узкая, и дети зимой ждали, когда по реке поплывут лодки с апельсинами, и гребцы будут бросать их из лодки детям на берег. (И около того примерно года мы зачем-то с этой страной воевали...) А теперь боится она, что стало слишком много экскурсий, и слишком много продают сувениров — загубят городок.

Испытали мы и ужин с гейшами, в Киото, это было гостеприимство Мацуо-сана и стоило, кажется, очень дорого, и добыть ему было трудно, по знакомству: гейши теперь редки и заказы задолго. В тихом закутке тихий ресторан («чайный домик»). Обычный земной поклон прислужницы у перемены ботинок на шлёпанцы. Я ждал большого зала, много столов и где-нибудь эстраду, — ничего подобного, ввели в комнату три метра на три, пол в циновках, с низким квадратным столом посредине (шлёпанцы за дверью, мы в носках) и сели на предложенные подушки — а ноги опять куда девать? Стараюсь только одну неприлично вытянуть под стол, а вторую поджать под себя. Прислужница в синем непарадном кимоно, каждый раз сперва вползая на коленях и что-то ставя за загораживающим экраном, потом оттуда, мало поднимаясь с колен, с поклонами каждому, — вспененный невозможный горький густой зелёный чай, с миниатюрной конфеткой на отдельном блюде, — и, оказывается, в ходе полной чайной церемонии пьющие должны трижды прокрутить чашку в руке перед тем как пить (выразить наслаждение), а выпив — ещё подержать чашку, как бы любуясь ею. (Я уже этот вкус знаю, и не пью, и нет у меня сил крутить чашку.) Затем (как и всегда при всякой японской еде) вносятся на отдельных подносах (и несколько раз в ужин обновляются) скрученные горячие влажные салфетки для обтирания рук. Затем (всё так же каждый раз на коленях ставя за экраном, а потом каждому кланяясь низко) церемонно приносит на подносах художественную посуду — миниатюрные блюдечки, миниатюрные судочки с крышками, изрезные платы, каждому одинаковый набор. Сперва какая-то морская загадочная закуска, к которой я боюсь притронуться, потом какое-то первое блюдо (дурнит даже от запаха, спасибо скоро открыли окно в сад).

Вдруг входят (не становясь на колени, а лишь слегка кланяясь) сразу три (по числу посетителей) гейши, все три в светлых кимоно (белых и кремовых), но ведь кимоно некрасивы: портят их широченным поясом (шириной сантиметров 40, от груди на весь стан), переходящим сзади в нелепый горб наспинника. А главное: две из трёх упущенно стары (под 60?), третья далеко за сорок, и все три собой нехороши. Садятся на свободные места на полу, уже без подушек, каждая около одного посетителя, — и начинает его угощать, наливать ему в рюмку из крохотного кувшинчика горячую водку sake (она некрепкая, 16°) и усиленно улыбаться. И более всего ранило, как они напряжённо должны были быть говорливы (умный разговор — приправа к мужской еде), внимательно непрерывно оживлены, поспешно кивать, согласительно улыбаться, строить глазки — а при этом сами они ничего не едят и не пьют, перед ними нет даже посуды, лишь потом заказчик, хозяин стола (Мацуо-сан) распорядился угостить их пивом, вот и всё. (В Японии пиво пьют очень серьёзно, тосты поднимают.)

А блюда носят и носят, я в ужасе: когда ж они кончатся? И запах гаже и гаже. Пью sake, а закусить нечем, кой-как палочками донёс до рта два изуродованных кусочка огурца, третий раз — горку подпорченного хрена. В керами-

ческих накрытых тазах внесли что-то закрайне недобровонное, я надеялся подать знак, чтобы передо мной не открывали крышку — нет, открыли: какие-то раки, креветки, створчатые раковины, обезображенные овощи, подозрительные грибы — всё раскалено, распарено, и ещё для раскала подложена чёрная галька внутри таза. Вижу: с утра ничего не ел и до следующего утра ничего не придётся, воротит. Обо мне (я — «профессор Хёрт, швед») — только всеобщее сожаление, что я не ем, и одна гейша стала подливать мне пива. Но всё бы отлично, если б я тут же мог записывать наблюдения в дневник — а неприлично, и новые усилия: запомнить все подробности и их очередь. Идёт болтовня по-японски, я уже и не спрашиваю у Кимуры перевода. Но независимо от моего европейского отвращения и от старости этих гейш: никакой эротики и не предусматривается, ни даже касаний руками, не то что объятий, — а только напряжённо-«умное» поддакивание, чтоб не умолкала болтовня (и цитаты из китайской классической поэзии, если гость способен оценить).

Затем появилась на столе ещё особая фарфоровая чаша с горячей водой, это вот для чего: если мужчина хочет угостить sake гейшу (а ей отдельной рюмки не положено), то он прополаскивает свою рюмку в общей чаше и наливает гейше. (Сам себе никто никогда за японским столом вообще не наливают.) Я думал, на том и конец, — нет. В изумительных лакированных чёрных чашках — опять оливковая вермишель при ещё какой-то добавке. Вермишель безопасна, можно брать её палочками, но при соединении всех запахов тоже не идёт. Теперь несут керамические чайнички, сверху — не лимона кусок, но какое-то японское подобие. Ну, теперь наверно нормальный чай? — ничего подобного, горячий солёный суп. И чашка риса — вот поесть бы! — так до того сух, до того ничем не приправлен — не идёт через глотку. И наконец дольку дыни и даже ложечку к ней.

Однако: во второй половине еды вплыла в комнату молодая *майко* — как ожившая фигурка из японской живописи, — сколько же времени надо делать такой туалет! Всё лицо как отштукатурено — покрыто непроницаемым слоем белой мази, кусочка живой кожи не увидишь. Нижняя губа намазана красным, верхняя — сиреневым. На голове у гейш у всех волосы убраны гладко, но не слишком затейливо, у неё — сложная фигура с круглым навесом, как японская крыша, как крыло, ещё *два* букета на теменах и *две* разные подвески — с левого боку (висящих фитюлек полудюжина) и с полубоку. Майко — в голубом кимоно, но сзади у неё — не уродливый за спинник, а золотисто-оранжевые крылья. Стройна, довольно высока, но кимоно — длинней её фигуры, подворачивается под ноги, майко движется с опаской, в белых носках. Держится именно как картина — неподвижно показывает себя, почти не говорит. Из почёта присела, строго ровная, сперва рядом со мной, но вскоре перешла к Мацуо-сану, стала немного говорить и зажигала ему спички к папиросам. Но даже подо всей штукатуркой видно, что красива, тут мне Хироши и перевёл, что ей — 16 лет, что амплуа майко — вообще только до 20 лет, а потом либо переходят в гейши, либо уходят прочь. И что во всём двухмиллионном Киото сейчас только 30 майко, эта профессия угасает.

В конце ужина объявили, что сейчас майко будет танцевать. Да как же? — и пространства нет в комнате, и она же запутается ногами в избытке кимоно, в нём и ступить нельзя. К тому времени вошла (чуть раньше, и уже посидела у стола) ещё одна страхолюдина, грубое, неженственное лицо. Она внесла самисен — простой трёхструнный инструмент. Теперь она села в углу (убрали загораживающий экран и дверь в коридор задвинули), стала играть примитивную унылую, однообразную мелодию. Одна гейша села рядом с ней и стала так же примитивно однообразно петь. А майко, сперва поклонившись нам земно, невозмутимо гордо начала танец («кленовый мостик») на пространстве двух квадратных метров. В руках у ней оказались два красных веера, она и играла ими, руками, лицом, а ноги мало двигались. То складывала веера так, что получался полный красный круг у её пояса. (Пояс на ней тоже очень широкий, с захватом груди, и туго затянут.) Потом веера исчезли (не заметил: в

карманы?), стала играть одними руками без них, то рассматривая свою отставленную ладонь как бы с удивлением, то рассекая ею воздух по дуге. И даже отдельными пальцами, с большим значением. И отдельно — большими голубыми свесами рукавов, натягивая их. Как бы любясь то своими выставленными руками, то рукавами. (Тут я нашёл общее между этим танцем — и ритуальным танцем мико на освящении младенца в синтоистском храме: большее значение рук и лица, чем туловища и тела; важность отдельных застылых положений, знакомых из японской живописи. Позже, познакомясь с театром «Но», VII века, я увидел, что всё из одного корня.)

Мы аплодируем, майко снова делает земной поклон нам, и танцует второй танец, «песенку о Киото», однако мало чем он отличается от первого. Затем опять села к столу, но уже не была такая дутая отрешённая, самоуглублённая красота — а разговаривала простым девичьим голосом. Промокала вспотевший лоб платком, но так ничего и не пила. А уродина стала играть какое-то барабанное соло на самисене, а та гейша петь. Оказалось: популярнейшая «песня о Сакуре» (вишне). Затем Мацуо-сан тут же на цыновке, ниже стола, положил деньги своей знакомой гейше, та свернула, заложила за запах кимоно. И почти тут же, безо всяких церемоний, прислужница вынула из шкафа мою женскую куртку — и все встали. Дождя уже не было — и все гейши вышли за порог дома нас провожать (японцы-то переобуваются проворно, мгновенно). Обычные взаимные поклоны, мы сели в автомобиль. Вдруг показали мне открутить стекло. Подошла майко и протянула мне руку. Не знаю, как требует церемониал, а я — поцеловал руку. Другим не протягивала.

---

Был у меня план ещё проехаться на пароходике по «внутреннему» (между тремя большими островами) морю, старой японской магистрали, множество там островков и полупокинутой тишины. Тут помешало надвижение очередного тайфуна. Однако прямого налёта тайфуна я не испытал. Тайфун тем страшней и сильней, чем он медленней движется. Так и надвигался этот, поперёк нашего пути. Вдруг — ускорился внезапно, изменил направление, от того сильно ослаб — и бессильный упал на Хиросиму. А мы как раз туда и ехали.

При въезде в Хиросиму — уже испытываешь обжигающее чувство. (А ещё почему-то именно здесь, в виде какой-то рекламы, висели в воздухе один зелёный и один жёлтый шары — как будто нависшие неразорвавшиеся бомбы.) В музее, посвящённом атомной бомбе, — круговая модель оставшегося города: мало зданий, и не в центре, — и такой же вот красный шар, в знак взрыва, свешивается над ней. Стенд: как от президента Трумэна и через нескольких генералов спускался приказ — с 23 июля до 6 августа. Хиросима была выбрана как крупная военная морская база с сильной концентрацией военнослужащих и военных устройств, и за то, что окружена горами, радиация сгустится (чистота опыта! или предохраненье для других?). И посегодняя — американцы считают жертв 120 тысяч, японцы — 200 тысяч. Из трёх прилетевших самолётов в ясное безветренное утро один сбросил — и так круто стал убежать, что в момент взрыва удалился уже на 16 км. Бомба падала в красной колонне пламени, а через 43 секунды разорвалась на высоте 580 метров. Невообразимый огненный бело-жёлтый шар, столб дыма поднялся до 9 километров и перешёл в грибообразное облако (его сфотографировали через час, всё не разошлось). Множество пожаров, и всё пространство обратилось в пепел, от жары люди прыгали в реку, надеясь там спастись. Кто-то успевал делать фотографии: столпившихся раненных и растерянных жителей. Теперь перед моделями жертв за стеклом, — кончики их пальцев стекают расплавленные, облезшая кожа, обезумелые глаза, — один пожилой японец сложил ладони буддистским

молитвенным жестом, а среди экскурсии школьников — обычный стандартный неуместный смех, — не над жертвами, а по своему поводу. Остатки полу-сожжённых одежд. Трамвай, откинутый с путей. Лошадь с оторванной мордой (жила до 1958 года). Во что сплавились монеты, гвозди, часы, бутылка. Откопанные черепа.

А рядом — Мацуо-сан: летом 1945 он и стоял тут, в хиросимском гарнизоне. Но 1 августа был откомандирован в Ямагучи, вернулся 15-го, ещё видел трупы в воде. И думали тогда: никогда больше не вырастет на этом месте зелени. А — выросла. Как и новый город.

Эта живая судьба рядом — человека, случайно миновавшего бомбу, и такого славного, расположенного человека, даёт нам идти по городу — одной ногой в *тот* день, одной сегодня.

Знобко в Хиросиме. Даже ходить, оставаться, переночевать.

В Ямагучи мне удалось посетить школу — два урока математики, один физики, — всё как «шведский профессор Хёрт», интересующийся постановкой образования в разных странах мира. Так представляли меня и классам, потом учителя фотографировались со мной (когда ж иностранный гость заедет в Ямагучи!). На обсуждении уроков в директорском кабинете один из математиков вдруг спросил Кимуру-сана: а отчего это шведский профессор говорит по-русски? Кимура не растерялся: я (Кимура), мол, не знаю шведского, так решили говорить по-русски. Было стыдно их мистифицировать, и из Токио, тотчас после моего оглашения, я написал директору извинительно-благодарственное письмо. Уроками я остался доволен: при предметной насыщенности, ученики отданы уроку, внимательны. Учат их серьёзно.

И можно было ездить по Хонсю ещё, завернуть на западное побережье, — но уже был полон впечатлениями, а время утекало — и надо было ехать в Токио, готовиться к выступлениям. Ещё предполагал я тем же экспрессом вскоре вернуться сюда, в Симоносеки, и переплывать зловещий Цусимский пролив — именно таким путём в Корею.

Вечером с просторного балкона моего номера вид на токийские светá — заглядываясь. После ночной лесной глуши с вермонтской веранды — сильное впечатление.

А Тояма теперь сам дал обещанную им пресс-конференцию о моём приезде в Японию, и тут, со своим «правым» завертом, — без надобности вставил, что Солженицын рассматривается как возможная жертва терроризма и потому охранные власти предупреждены заблаговременно. И потекло в газеты: вот почему я путешествовал инкогнито! Тояма затем и во вступлении к моей речи хотел объявить, что меня могут убить, как убили Льва Троцкого, — еле я удержал его и от гнусного сравнения, и ото всей этой мысли.

Но полиция, начавшая меня в Токио охранять (это было настоящие уже не Тоямы, а власти), охраняла действительно первоклассно: быстры, обходчивы, находчивы. В мою часть коридора на 12-м этаже нельзя было пройти непрошенным и незамеченным. Куда б мы ни подъезжали, — а главный полицейский, всегда провожающий из отеля, уже как по воздуху перенёсся, уже там, и показывает, куда ставить наш автомобиль. Полицейская машина всегда имела со спутниками в моей машине радиосвязь, давала команды, как ехать, как уходить от корреспондентов, а то, с вертящимся на крыше красным шаром и сиреной, сама выходила вперёд и влекла нас между струями затормозивших машин. Так — меня никогда не возили. (И — кого из русских писателей возили? О, век! Жить так — несладко. Но и: как быть, после моих безоглядных выступлений? Через сколько-то лет эти предосторожности будут непонятны; но наши годы — расцвет терроризма, сильно направляемого советским КГБ.)

В последний момент огласки приглашавшая меня («правая») газета «Йомиури» побоялась назвать себя (не испортить отношений с советскими властями, чтобы корреспондента её не выслали из Москвы?) — и поручила необузданно-правому Тояме взвалить всё приглашение на себя, на радио «Ниппон». Вот такие «правые» храбрецы.

Всё важное и главное, что я хотел и мог сказать в Японии, было в этой моей речи («к руководящим кругам»), подготовленной ещё в Штатах, и почти ничего не пришлось изменять после путешествия, всё так. Но до речи предстояло два других обещанных выступления: интервью с «Нихон-ТВ»<sup>\*</sup> и круглый стол в «Йомиури»<sup>\*\*</sup>. Я опасался: будут ставить такие вопросы, что вытянут главное ещё до речи, — и во что превратится речь? И на телевидении пришлось-таки поспорить — насчёт «миролюбия» красного Китая, остальное шло — боковое. Потом оказалось: и хорошо, что высказал тут, иначе совсем бы пропало, нигде больше меня о Китае не спрашивали. А тут — вступил со мной в спор бывший замминистра иностранных дел Синсаку Хоген, что Китай — родственная Японии страна, и коммунизм там совсем не опасный: «Китайский народ — очень умный народ, и они сейчас направляются в сторону прогресса». Я страстно доказывал, что — *такой* же коммунизм, как и советский, везде одинаков, это и главная цель моей поездки была. (А — с чего японцам мне верить? Азиаты, тут по соседству, разве не лучше знают друг друга?..)

Речь «к руководящим кругам Японии»<sup>\*\*\*</sup> я готовил открытую для прессы, как мне заказали, — однако прессу не допустили. Было два министра — образования и Ичиро Накагава, науки и технологии. Было сколько-то интеллигенции, сколько-то социалистов (записывали места о социализме), а то всё бизнесмены. В модерном зале Торговой палаты трогало меня: прямо против лектора в просвете единственного центрального прохода в зале — единственное же окно, но — в сад! Зелень пасмурного дня. Умеют же. — Аудитория дружно хлопала в начале и в конце. К сожалению, переводчик мой Нисида читал робко, невыразительно, не принимая текста к сердцу и не стараясь передать чувство. (От нескольких человек я слышал, и писали в газете потом: «оказывается, русский язык — какой свободный, сильный, звучный». Им по-настоящему и не приходилось слышать русской речи.)

На другой день была самая сдержанная информация — в немногих правых газетах, кратко. А саму речь фирма Тоямы продала журналу «Синтё», а тот исковырял её всю, выбросил остро-политические места, наверно треть, — и такую напечатал. (И даже не указал, что текст сокращён...)

И так Япония — не услышала моей речи вовсе, и не прочла, составлял я зря. И моё интервью для «Нихон-ТВ» хотя и хорошо сделали — а передали почему-то в 12 часов ночи, нормальные люди не могли смотреть, — да люди-то смотрят больше общенациональный канал NHK. Дискуссия в «Йомиури», правда, прошла интересно, за 8 лет на Западе такой интересной не помню, нельзя себе представить подобную в американской газете. Поражает, насколько японцы не поверхностны, а глубоко смотрят на вещи, доискиваются глубины. (В этой дискуссии касались и загадки, на чём держится нравственность Японии: на чувстве красоты! на чувстве достойного! Вот тебе и «красота спасёт мир».) Но — для массового ли это читателя? Опубликовали дискуссию уже после моего отъезда, не знаю — оставила ли какой след.

Прошли все интервью, и никто не задал мне самого ожидаемого вопроса — о Курильских островах. Такова ли японская тактичность? или профессорская высота?

В день дискуссии в «Йомиури» должен был норвежский Нобелевский комитет присуждать премию мира, я очень ждал для Валенсы, и собирался что-нибудь сказать. Однако норвежское время намного позже японского, всё не передавали, до нашего позднего вечера. Скажу завтра? Но Хироши убеждал меня подготовить заявление с вечера, а он переведёт и будет дежурить у изве-

<sup>\*</sup> Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль. Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 3, стр. 46 — 59. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы.)

<sup>\*\*</sup> Там же, т. 3, стр. 74 — 95.

<sup>\*\*\*</sup> Там же, т. 3, стр. 60 — 73.

ствий, а как поздно ночью объявят — так и он сразу передаст в бюро прессы. Ну что ж, я написал заявление заранее: «Присуждение Нобелевской премии мира Леху Валенсе — высокодостойное решение Комитета. В прошлой деятельности Комитета, увы, были случаи, когда за деятельность мира принималась капитуляция перед агрессором. Сегодня этой премией награждён безоружный человек высокого духа, самый выдающийся борец не только за права народных масс, но за будущность всего мира, на самом горячем участке борьбы и в самые мрачные месяцы Польши, в дни разгона „Солидарности“». А утром узнаю: дали премию прелёвой госпоже Мирдаль и какому-то мексиканцу за их борьбу против ядерного оружия (обезвредили они хоть одну бомбу?). И вертится новое заявление: «Трусливое решение Нобелевского комитета отражает упадок духа всей Европы...» — да не совсем для Японии. А как ждал Валенса и все поляки! Как бы это их поддержало! Жена Валенсы не сдержалась, сделала заявление. (Прошёл год — и Валенсе всё-таки дали премию. И поляки просили меня высказаться. Хотя я тогда уже совсем замолкал — но в салют Валенсе это несостоявшееся заявление чуть подправил — и дал.)

Позже, в Штатах, предложил я свою японскую речь в «Форин эфферс» и получил отказ от её издателя Вильяма Банди с таким разумным обоснованием: они готовы стерпеть мои заявления об импотенции Америки; согласны с моими советами Японии вооружиться сильней для защиты самой себя и окружающего морского пространства. Но я предлагаю ей активно защищать и другие нации Восточной Азии и даже освобождать от коммунизма Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджу (этого-то в моей речи не было?), — свободные нации Азии встревожатся и оттолкнутся от такой японской помощи. Таким образом мои советы могут оказаться опасными для Азии, создать опасные трудности, даже разрушить нынешнюю систему безопасности — ещё раньше, чем Япония как следует вооружится.

Очень это интересно. Ведь мой совет был не рассчитанно политический, а чисто этический: коль скоро у Японии есть силы, а перед Восточной Азией она так виновата — то и должна приложить свои силы в искупление вины? А — нет: видно, в международных отношениях вина не проходит так просто, декларацией об искуплении? — теперь Японии никто не будет верить и все пути закрыты?

И тогда: этические советы в современной политике — вообще не реальны? Который раз на это натываюсь.

Ещё на Тайване через полгода напечатали мою японскую речь — но тоже сокращённо, тоже из «Синтё». И так речь, продуманно направленная к японцам, никогда никем не была прочтена, кроме русского языка, и то в эмиграции, — да ещё, всё-таки, в Штатах, через год, в дружественном ко мне «Нэйшнл ревью», но с характерными купюрами: убрано всё, что не льстит американцам! — как же в Америке не терпят критику!

Зато статья в «Йомиури» об СССР\* прошла неплохо, её заметили, цитировали в частях, потом полностью напечатали в Штатах в «Нэйшнл ревью», во французском «Экспрессе», передавали по-русски по радио на СССР не раз.

Уже в Токио я почувствовал, что — устал.

Побывал на спектаклях театров «Кабуки» и «Но». Посмотрел несколько знаменитых японских фильмов. Театры были удивительно характерны, но труднопонятны. Фильмы — замечательные. И слишком много перевидал храмов. И теперь ехать в Корею, — опять закрытый отель в Сеуле, с полицией? и потом по таким же бесчисленным буддам? И вот — столько готовил для Японии, столько сказал — а почти всё впустую? Я раньше писал председателю приглашавшего меня южнокорейского Культурного общества Киму Кью-Тей-ку: что хотел бы свою поездку провести как культурную миссию. И он не воз-

\* «Публицистика», т. 3, стр. 168.

\*\* Там же, т. 3, стр. 31 — 44.

разил. А сейчас, оказавшись в Токио, он выразил мне, что повезёт меня смотреть, как северокорейцы подкопали уже третий тоннель под нейтральную зону. Так этак меня и на Берлинскую стену звали выступать! — уже совсем превратить в политика? Мне и самому понятно: не избежать уговаривать бунтующих корейских студентов, что они не знают цены имеющейся у них свободе, рвутся не в свободу, а в концлагерь. И что ж: призывать студентов не бунтовать, а подчиняться военному правительству? ещё раз выступить «реакционером»? Но в Корее — что-то мешает; там недавно разоблачали коррупцию правящих — а мне для кого надрываться? Вспомнил, как год назад они загубили русское радиовещание (Алексея Ретивова) из Сеула. А тут ещё: их президент вдруг принял трёх корреспондентов ТАСС, беседовал 50 минут, сказал, что для такого приезда им нужна была смелость (? — простое служебное распоряжение). Это была всё та же слепая южнокорейская линия: только Северная Корея им враг, а СССР и красный Китай — не полностью враги, или даже не враги. (Несколько дней спустя перелетел в Южную Корею китайский военный лётчик — они стали жаться, как бы даже лётчика на Тайвань не отдают, не разгневать Пекин, а самолёт — конечно назад Пекину. Потом вернули ещё гражданский с пассажирами, а в Китае беглецов от коммунизма — будут судить.) Жалко не повидать Корею, люблю корейцев ещё от Казахстана, но ведь жизни их всё равно не увидишь при полиции. И: для русской судьбы Корея — не решающая, их конфликт не задевает будущую Россию, всё дело — в Китае (значит, Тайване) и в Японии. И Южная Корея — не покинута Штатами, как Тайвань.

И я переломился: не еду в Корею. Предложил им прислать в Токио телевизионщиков, взять интервью. Так нет!! — оказывается, вражда Кореи к Японии за колонизацию так велика, что корейцам невозможно брать у меня интервью на японской земле, они лучше приедут в Вермонт! (Даже и мой приезд в Корею *после* Японии — уже был бы тем подпорчен. Тут ещё обострилось у корейцев из-за недавнего исправления в Японии учебников по истории: не стали признавать японской вины во Второй Мировой.)

Да и более широкие мои планы закачались. Ехать в Сингапур, Таиланд, Индонезию? — мало что экватор и жара, которой мне не вынести, и без гида, без хорошего переводчика нигде ничего не увидишь, не найдёшь. Но даже и не могу я быть частным путешественником для удовольствия — пропущено, положение связывает меня.

Нет уж, видно, в этой поездке — задору хватит мне только ещё на Тайвань.

\* \* \*

В Тайбей я летел на втором этаже самолёта тайваньской компании, верхний салон был совсем не полон — и я до конца так и не узнал и не сообразил, что ехавшие со мной и моим спутником У Кай-мином (сыном приглашителя) наверху — были полицейские в штатском. А стюардессы-китайки (сразу дают тип в отличие от японок: мягче и милей) тут же узнали меня, просили автографов и сфотографироваться. А дальше узналось, что на первом этаже самолёта летит группа тайваньских корреспондентов из Токио, тоже почему-то знают, что я лечу, — и на выходе общёлкали меня со вспышками. Только через несколько дней мне объяснили: пригласивший меня Фонд поощрения искусств У Сан-лина перемудрил: *чтобы* не разгласилось, они сами объявили корреспондентам о моём приезде — под честное слово, что те не разгласят. И, удивительно: из тридцати газет — *все* и сдержали слово! — китайцы! выдержка! — кроме одной: англоязычной «Чайна таймс», она опубликовала. (И воспалилась на несколько дней газетная стычка: все возмущались изменницей, а она провозглашала, конечно, «свободу печати» и «все имеют право всё знать», объедки западного стола.)

Проследила пресса, что я уехал на загородную виллу к основателю Фонда У Сан-лину, — и успокоилась. А я-то, оказывается, был отвезен туда лишь на

чайную церемонию, после чего в соседнюю гостиницу Ян Мин-сан. И — не заметили моего перемещения. И так выиграл бы я два спокойных дня для составления речи, если б наутро не повели меня завтракать на виллу — а туда-то и нагрянули корреспонденты, и несколько часов не мог я оставить дом Ян Мин-сана, чтобы не дать след к своей гостинице. Вышел, прошёлся, чтоб отсняли да ушли. И секретарь Фонда У Фенг-шан объявил, что едет в Фонд дать пресс-конференцию, дабы увлечь туда всех корреспондентов. Но там он, чтобы больше прозонить укором изменнику «Чайна таймс», придумал и объявил, что я бушевал от разоблачения, хотел уехать, и эти несколько часов ушли на уговаривание меня остаться. Оказал мне медвежью услугу: тайваньский корреспондент ЮПИ — видимо ядовитый, поспешил сообщить на всю Америку весьма пространно: и как я бесился от разоблачения, и как требовал отправить меня с первым же самолётом, — ну, значит, полный псих, — и как умоляли меня, что это обескуражит антикоммунистический народ Тайваня, и как я считаю себя первой мишенью коммунистических террористов, и как согласился наконец задержаться временно, но намерен покинуть остров при первой же возможности! И это пространное враждебное сообщение было распечатано по Америке — и осталось единственным свидетельством там за всё моё пребывание на Тайване! И когда я уже произнёс в Тайбее речь и нельзя было совсем замолчать её, тот же тайваньский ЮПИИский корреспондент — буркнул про речь, но тут же вставил объяснение, что я — «перебежчик из СССР, 1974 года». И высококомпетентная «Нью-Йорк таймс» ничего другого о моей речи тоже не напечатала, а именно это: что я «перебежчик» (defector). Как же мне с этим миром и с этой прессой быть в приятелях?.. (Кто уехал по соглашению с советскими властями и по израильской визе — тех американская пресса называет «изгнанниками»...)

Сперва я думал, что всё-таки ускользнул в гостиницу незамеченным. И так было до вечера. Гостиница захудалая, но милая. Мебель из бамбука и из соломы, плетенная всё старинно. Из номера открывается дверь на просторную крышу здания, где клумба, и можно гулять под горным ветром (к счастью, выдался один «прохладный» день, всего только 23°). Сел работать над речью. (Утром познакомился с моим будущим переводчиком — профессором Ван Чао-хуэем из Харбина, по-русски говорит еле-еле, и переводить с почерка тоже отказался, прислал мне русскую машинку, чтобы я напечатал. А между тем именно он — «перевёл» на китайский и произвольно сократил «Телёнка». Воображаю! А «Архипелаг» перевели с английского — и вот всё, что есть тут на китайском...)

Но не заметил я опасности от внешней лестницы на крышу, вроде пожарной. И вдруг вечером через окно — вижу, какая-то женщина, что-то по-английски. Я отмахиваюсь — а она через дверь с крыши, и вот уже в моём номере, даёт свою корреспондентскую карточку, требует интервью. Еле выпроводил её. Тут узнал, что внизу уже целая толпа корреспондентов (одна эта исхитрилась на крышу). Ждут меня. Но я спокойный мог сидеть над речью: проход ко мне, а теперь и пожарную лестницу охраняла полиция. Нет, настоял Фонд, чтоб я ещё раз вышел погулять перед фотографами и телевизионщиками со стариком У Сан-лином в китайский садик (с гипсовыми фигурами животных). С этого дня все три канала телевидения уже показывали меня ежедневно. Надеялся — нащёлкаются и отвалятся, не поедут в путешествие, и я постранствую по Тайваню так же беспомешно, как и по Японии, — ну, куда там.

Так и поехали мы в четырёхдневное путешествие по Тайваню, преследуемые двумя десятками корреспондентских автомобилей. «Переводчика» моего нельзя было и думать отрывать от речи, да и не годился он для устного перевода. Так пришлось мне ехать с одним английским языком — но с моим неразлучным У Кай-мином объяснялись хорошо, у него очень чёткий английский.

---

Мы двинулись сперва по западному Тайваню. Здесь равнина раскидистой, чем где-либо в Японии, и приятнее русскому глазу. А реки (по рельефу и размерам острова короткие) — в летнее недождливое время стоят совсем сухие, без воды. Мы начали поездку из Тайбея уже с 25-й широты, а на второй день предстояло пересекать и тропик Рака. И сразу поразила растительность: пальмовые аллеи и обсадки дороги, банановые рощи — и даже в городах, на автомобильной улице, банановые деревья, а за зелёными (второй урожай) рисовыми долинками — и целые пальмовые леса. Белесоватые, как у тополя, стволы пайхуа. На дневной перекус нам подали невиданные фрукты: ребристый янтау, папайя, шангуа, манго и знакомец ананас. Поднимаемся в горы — и всё то же тропическое богатство растений, от которого захватывает душу веселье. Лотосы. Мелькает узкоколейка для вывоза сахарного тростника. Таскают бананы в двух больших корзинках через плечо, и маленькие придорожные лавчёлки забиты бананами. И приятно, что ничто не содержится в специальной опрятности и приукрашенности как туристские места, а — будничный труд, красота брошена в невнимании. Соломенные тайваньские конические шляпы на работающих (на полях — всюду работы до позднего вечера). А китайскую гнутую крышу редко встретишь — всё теперь индустриально. Но как милы скромные горные посёлки: сохранилась провинциальность прежнего запущенного острова. Домики сляпаны кое-как, лишь бы жить, климат позволяет.

Поднялись на высоту 750 метров к горному озеру — «солнечно-лунному» Рью-Э-тан. (Транскрибировать точно по-русски китайские названия и имена — трудно, надо просить несколько раз повторять и вслушиваться, звуки всё промежуточные, не совпадающие с нашими. На русской карте, например, второй город острова называется Гаосюн, а он точней гораздо — Као-Шьён. Так и все окончания «нг», записываемые по-английски, — такая же неловкая попытка записать китайский звук, у китайцев не слышится это «нг», и секретарь Фонда Фенг-шан склонялся, чтобы я записал его имя: Фон-сан. Обратное, и китайцам трудно воспроизводить в точности русские звуки, и кто ни пытался научиться правильно выговаривать мою фамилию — не устигал и с пяти попыток.)

На Солнечно-лунном озере кончал свои дни Чан Кай-ши, проигравши Китай. Это было — любимое место его отдыха, уединения и работы. Против дома его, с видом из окон, через озеро высится — на горе, да ещё и сама высокая тонкая, — пагода в честь матери Чан Кай-ши. А сам он, оказывается, был христианин, — и здесь, на откосе, построен протестантский храм — для него и жены. В его доме теперь гостиница, где мы и остановились.

Мы приехали перед закатом. Вода в озере была голубовато-зелёная, а верхушки обмыкающих гор, среди которых налилось озеро, покрыты дымкой и облачной рванью. Озеро очень украшено ещё маленьким островком посередине — купа деревьев за белым заборчиком, откосы мощены камнем.

Встречу мне устроили — как самому бы Чан Кай-ши. Открыли специальный построенный для него закрытый ход к пирсу, там подали катер (а корреспонденты уже наняли другой и следовали). Обошли островок, пристали к другому берегу, взбирались по лесенке к буддистскому храму. Уже в сумерках сделали угол по озеру — обширному, даже и для моторки. А потом я поднялся в половине шестого утра — текла богатая, быстропеременчивая игра красок на очищенном небе, слева над горой, перед восходом солнца! и какая гладь озера, какой покой! И замечательно поставлена на верхнем горизонте, против глаз, пагода матери.

Бедные, пренебрежённые миром тайваньцы, не избалованные вниманием иностранных гостей, встречали меня повсюду триумфально. Остановились мы на дневной завтрак (я в них не нуждался, только потеря лучшего времени, но У Фон-сан жить без них не мог) в Тайчжуне, в отеле нам отвели номер просто президентский по объёму и обстановке, и сразу же появился мэр Тайчжуна — вручать мне ключи от города. Для этого спустились в фойе, там он вручал при трёх десятках корреспондентов и двух сотнях сбежавшихся жителей. Аплоди-

ровали, махали, очаровательная китаяночка прорвалась пожать руку\*. Позже вручали мне ключи и от крупного промышленного Као-Шьёна, и от мелкого, но исторического Лу-Кана, затем уже и просто от гостиницы «Амбасадор». Всё представлялись, представлялись в разных местах ответственные лица — путались у меня и наружности, и посты. Со второго дня распорядился президент республики Чан Чин-куо (сын Чан Кай-ши) усилить мою охрану, добавилось спереди и сзади полиции (и всем же надо протяжно завтракать, удлиняются дневные перерывы). А само собой добавлялись местные корреспонденты, уже следовало машин до сорока, — и со всем этим кортежем я появлялся в людных местах и под непрерывное общёлкивание. Это привлекало жителей, они сияли, махали, приветствовали, хлопали, там и сям я жал руки, снимался со стариками, с мальчишками (у китайчат волосы жёсткие, как проволока). Такой же кортеж шёл за нами в нагорный университетский парк Чи-Тоу, где ждал нас для завтрака отдыхательный дом с изумительным запахом деревянной — но не простого дерева — постройки, ещё усиленным от тайваньской орхидеи, не так благоухающей вблизи, как по всему помещению. Чтобы пройти по парку в одиночестве, надо было ускользнуть лесной тропкой.

На прядильной фабрике сажали в мою честь пу-ти-су (липу) и фотографировали с работницами. Прядильная фабрика, правда на японских и германских станках, — поразительно механизирована: от хлопка Африки и до нитяных катушек на экспорт — почти никого нет в огромных цехах: хлопок перегоняется по трубам, машинами скручивается, растягивается, снова скручивается, сами меняются шпульки, и бочки со скрутками сами движутся по полам цеха хитроумными зацепами из пола.

В Као-Шьёне вошли в зал в перерыве концерта — тут же заметили и стали аплодировать ближайšie, затем встали все тысячи полторы, откуда-то поднесли букет. (Бедные, бедные тайваньцы! — почти обречённые, всеми покинутые.)

Посетил я и верфи в Као-Шьёне — потрясающее кораблестроение, огромные танкеры на экспорт, а сухой док, говорят, второй в мире по величине, не знаю. Впечатления были так велики и натеснены, что я и не пытался записывать. Великаны корабельных корпусов, уже готовых в море. Запахи моря и слитный шум работ, как бы пескоструйный. Сварка готовых блоков в сухих доках. Каждая мелочь качества деталей и блоков проверяется компьютерами. Хотелось остаться дольше, вникнуть — а стыдно занимать собой внимание инженеров и рабочих.

Но ещё нет на острове всеобщего процветания. Тайвань одновременно: и процветает и выволакивается из нищеты японской колонизации. (Впрочем, остальному Китаю сейчас только пожелаешь такого уровня.) Побывали мы во многих и нищих местах, особенно в приморских. Тут и свои тяжёлые промыслы. Сушка соли из океанской воды: приходит вода по канавам, разливают её по ямам 1-й концентрации, затем 2-й, потом по сушильным квадратам, из них сгребают соль, несут в кучи, всё босиком. — Мелкий пруд, куда запускается из океана мелкая рыбка сабахи, здесь подкармливается (но при слишком большой жаре рыба погибает). Из нищей избушки рядом выходят двое рыбаков в одних юбках, заплывают на плоту, соскакивают и тянут сеть (обычно — ночью, чтобы к утру — свежую на рынок). — Немало обшарпанных лачуг, кирпичи как будто даже не цементированы, торчат свободно, да ведь зимы тут и не знают.

И в Лу-Кане — узкие, довольно зловонные переулки и задворки с неприглядной жизнью, как там живут и дышат? Тесная двухэтажная открытая жизнь. Вдруг на втором этаже над грязным переулком мост, и о нём тут же мемориальная доска: построил его Чен-Чи, на нём встречались поэты и писатели обмениваться идеями о каллиграфии, живописи, садовом искусстве, поэзии, шахматах, музыке и для приветствий луне.

\* И сколько сейчас в Тайчжуне попали в уничтожительное землетрясение... (Примеч. 1999.)

В городе Тайнани (прежняя столица острова) встретишь и телегу, запряжённую волами. Но и в нём, и ещё больше в Као-Шьёне, и повсюду — изобилие мотоциклов (как в коммунистическом Китае велосипедов): в конце рабочего дня едут сотни и сотни, запруживая улицы, — главный вид транспорта, хотя и автомобилями немало. (Даже большую живую свинью везут в мотоциклетной прицепке.) А светофоры — только в крупных городах, всюду на дорогах — регулировщики, дешевле. (И в гостиницах — изобилие прислуги, как в Японии.) Улицы переходят где хотят, даже дети. Хоть на всех нестроишься быстро — но строят и новые 10-этажные дома, с лифтами, был я в такой четырёхкомнатной квартирке учителя начальной школы.

Улица торгового ряда вся голубая: от солнца голубые навесы с обеих сторон перед магазинами. Но днём торговля вялая, днём и едят мало, а начинается торговая жизнь с 5 вечера — и до полуночи. К 9 вечера мы застали её разгар на торговой (и обжорной) улице Као-Шьёна. Множество ларьков сплошь по тротуарам, изобилие запасов и готовки, жарят, парят, кричат, — правда всё больше морское и на мой вкус запахи невыносимые. Тут же закусьвают, поставив в темноте мотоциклы (никто их не запирает и не уводит, в городе жителей под миллион, а жизнь вполне безопасна всю ночь). Китайцы много едят, и в обильных количествах. И пить не боятся, их водка — около 70°. Хотя в китайской пище многого я избегал, но и куда больше ел, чем при японском «глазоедстве». Пища китайцев несравненно вкусней. Как и язык на Тайване мягче японского, на мой слух. Как и сами китайцы теплей.

Не пропуская я, разумеется, и храмов. Немало тут буддистских (40 процентов тайваньцев исповедуют буддизм, он укрепился после Второй Мировой войны). Такие храмы уже знакомы были мне по Японии. Тут отметить лишь — буддистский центр Фо-Гуан-шань (Гора Света Будды) под Као-Шьёном. Огромная золочёная статуя Будды над зданием — свыше ста метров над уровнем местности. Очень простая прямоугольная конструкция храма. Три огромные фигуры рядом — сидящие, поджав колени: Будда Амитабха, Будда Сакья-Муни и Яусен-Будда (лечащий). А в нишах — 14 800 маленьких будд и над ними маленькие огоньки. Ещё «свет сокровищ» — многосветный вращающийся конус из многих застеклённых окошечек, в каждом — маленький будда с лампочкой: зажигает эту лампочку тот, кто возносит молитву за здоровье или удачу, и снаружи на бумажке — его имя. Когда конус вращается — раздаётся музыка. Погоню буддистов за огромностью и за количеством — нам трудно понять, не улавливаю, как это связано с проповедуемой брэнностью бытия. Так и подходы к главной статуе ещё обставлены сотнями совершенно одинаковых золочёных будд. У самой большой фигуры: левая рука вниз означает мудрость и приветствие из рая, правая вверх означает милосердие. Тут живёт 250 монахов (в чёрном, но иные — с фотоаппаратами, и тоже щёлкают).

Теперь предстояло смотреть конфуцианские храмы и прямо языческие. Они иногда и сочетаются. Такой большой комбинированный храм — на склонах всё того же Солнечно-лунного озера. Три храма, один за другим в глубину, почти вплотную, и ещё некоторые — из трёх зданий в ряд, все с китайскими гнутыми крышами и щедро изукрашены резными фигурами и лепкой. На площадке перед ближним — два больших стерегущих краснолицых дракона, опёртых лапами на белые шары. И ещё с боков — по китайской беседке. Первый центральный храм опоясан галереей с красными лепными колоннами, и галерея посвящена материнскому божеству Матсу, сторожащему остров (уж отсторожила бы от коммунистов!), — «святая мать в небесах» по легенде родилась на малом острове близ Тайваня, взята живой на небо, спасает людей и особенно моряков. Перед храмом дымит курильница. Молящиеся тут не снимают ботинок. Перед нишей алтарной части — жертвенник с денежными бумажками, бросают «на счастье». Всей резьбы и лепки невозможно описать. Из каждого нефы свисают узорочные фонари. В глубине алтаря уже другие божеества — Ю-Фей и Кан-Нюи, сидят рядом в креслах как два соцарствующих

царя, оба чернородые, в одеяниях золочёных, лицо Ю-Фея ближе к нормальному цвету, у Кан-Нюю ярко-красное. В приделах — ещё фигуры других божеств.

Глубже и выше переходишь в конфуцианский храм Та-Центи. Тут в глубине алтаря сидит уже просто Конфуций, не раскрашенный, тёмный, он в шляпе с полями, загораживает рот каким-то жезлом или свитком, изображено лицо мудрое и даже хитроватое. И перед ним тоже жертвенник, как перед всеми божествами, лежат бананы. Над алтарным углублением надпись: Великий Учитель Всего Мира. По бокам — красно-золотые ковчеги. В двух приделах фигуры учеников Конфуция Йен-Хуэ и Мэн-Цзы. Ещё какие-то щиты, секиры, конские головы на шестах.

А в конфуцианском храме в Тайнани (300 лет ему) — напротив, украшений мало, очень скромно внутри, разве что два симметричных оранжево-фиолетовых фонаря, и нет статуи Конфуция в алтарном углублении. (От частого мелькания статуй может быть потерян его авторитет, вместо этого — щит с изречением из него, и ещё по верху его слова: «Каждого можно научить». Как из Толстого...) Рядом с храмом — учебные помещения учеников. (И ещё рядом — спортплощадка для бейсбола простых школьников. Докатился и сюда.)

В большом языческом храме близ Тайнани — добрая сотня красных колонн, больше десятка изогнутых черепичных крыш, по их карнизам — драконы, всадники, орлы, лебеди, лодки, несдержанная щедрость фигур. Мой вход приветствовали звоном колокола и каким-то шумовым бубном. Жертвенники тут посерьёзнее — под листовым железом, ибо закалывают свиней и телят. В мою же честь устроили густое курение и отперли мне главный алтарь, а там в алтарной нише пять богов: У-Фу, Чен, Суй... А на боковых стенах — лепка тигров и вроде морских скорпионов, неописуемые чудовища: головы — с длинными рожками усов и развевающимися струями волос. За храмом дальше — обширный цветник с дугвым бассейном, причудливыми нагромождениями камней (избыточно, не по-японски) и множеством каменных фигур — зебра, жираф, косуля, журавль, лев, орёл, верблюд. Кирпичные переходы, цементный (но под вид бамбукового) мостик через водоём, потом лабиринт в камнях по грудь — и поднимаешься к двухэтажной галерее, где на стенах — китайские картины тушью и откуда просторный обзор на низменную приморскую местность.

Подобен этому и храм Матсу в Лу-Кане, где также встречали меня боем колокола. Всё то же изобилие гнутых цветных драконов на гнутых цветных крышах. Курильницы и посреди двора и внутри храма, сильный запах курений. На алтарном столе много приношений продуктов. Заимствованные из буддистского храма многолампочные конусы, но в каждом малом углублении — не Будда, а Матсу. Густорезьбной алтарь, а за стеклом — ещё изваяния богов. А за алтарём — ещё небольшой дворик с фонтаном-драконом, тут же второй храм, двухэтажные и башенные надстройки прелестной архитектуры. Этот храм посвящён китайскому божеству Юй-Хуан-таты: бородатые старики по трое сидят под стеклянными колпаками. Но во всей суете и фотовспышках корреспондентской толпы — стоит женщина на коленях перед алтарём и, ничего этого как бы не замечая, прилежно молится.

А ещё — всюду по острову рассыпаны, близ дорог стоят — маленькие, иногда вовсе крохотные, часовенки-алтарики с огоньками внутри — крупней или мельче, по средствам округи: каждая малая местность имеет своего отдельного покровителя и строит ему такой храмик. Тянется к Небу душа. Есть культ Чен Хуан-йе — божество защиты людей, даёт здоровье и счастье. Вот часовня Фу-Ан-мяу: на четырёх красных столбах — крыша над столом для приношений, за железной дверкой — маленький алтарик, как печь, там какие-то предметы — и крохотная сидящая чернородая фигурка в золотой короне.

На Тайване вовсе нет расслабляющего дневного телевидения. А в Као-Шьёне вечером перед зданием «культурного центра» — стихийный массовый танец молодёжи на полуосвещённой площадке. И что же? не прижимка, не развязные раскачивания, но девственно-невинно: то хоровод, как в прежних

русских танцах, то круговое касание плеч руками, то, попарно разделяясь, обходят друг друга по малому кругу, то прихлопы и притопы. Да нигде не увидишь обнявшихся парочек. Вошли мы и в сам «центр», на концерт: студенческий квартет из классики, потом девичий хор, человек 40, нежными голосами спели две песни местного композитора, очень чистых, вроде нашего церковного пения.

Видел на Тайване и один замок — Су-Кан-Лоу, построил его 320 лет назад Ко Син-е, сам из династии Мин, при её свержении бежавший с материка от династии Цин. (Как бы предшественник Чан Кай-ши...) Скульптура изображает и голландских послов к Ко Син-е. (Остров «открыли» португальцы, но затем захватили и грабили голландцы.)

Поездка была — и испытание жарой, уже ходил я в сетчатой рубашке, пересеча тропик. Уже нигде в душе не бывало холодной воды, а всё тёплая. Всё же много у меня ещё сил оказалось, на моём 64-м году: прокрутился в жаре 6 недель, и ещё мог бы, если бы располагался к тому смысл. Но уже не поехал в тропический Кен-тин-парк и к коралловым рифам, ни в горный восточный Тайвань, как собирался.

В Тайбей мы вернулись накануне моей речи. Поработал я с переводчиком — он понимал как будто больше, чем я ожидал. Убедили меня надеть чёрный костюм, хотя и середина жаркого дня. А отстранил из программы задуманное подношение букетов: слишком трагическая тема, и я не артист.

Речь заняла 50 минут, с переводом. Отзывно было говорить перед такой на редкость понимающей аудиторией (больше 2000 человек, зал с амфитеатром). Во всём сочувственны и чутко аплодировали в каждом задевающем месте. По окончании зал встал, аплодируя. Среди подошедших потом — молодой толковый министр информации, спикер парламента и глава не гоминьдановской «молодёжной» партии (а сам старичок). Министр информации просил разрешения распространять речь по миру по-английски. «Только если у вас есть хороший переводчик». Будто бы есть. Ужли?

После речи принесли мне в номер разбирать разные приглашения, предложения, нескончаемые изнурительные подарки — и в самом лишь конце подали письмо, задержавшееся на четыре дня, от русского — Георгия Александровича Алексева, бывшего крупного деятеля власовского движения. На Тайване! — вот неожиданность. Я тотчас ему позвонил. Пришёл, 74 года, собранный, умный, волевой. Счастье же какое — вдруг встретиться с русским человеком и говорить на полный объём, густоту мысли и свежесть. (Оказалось: это он и сделал английский перевод моей речи, а китайский переводчик за объяснением каждой второй фразы приходил именно к нему, отсюда и его «смышлёность», меня удивившая.) Я тут же стал интервьюировать Г. А. о Власове, о Пражском собрании ноября 1944, где его подпись под манифестом стояла третья, — а он переводил разговор на будущее России. Разочарованный в дрязгах австралийской эмиграции и её подорванности советскими агентами, он переехал на Тайвань работать в студии «Свободы» — но Киссинджер в своей «разрядке» с Китаем закрыл её. Теперь, пользуясь моим приездом, Г. А. хотел просить тутешнее начальство выделить из тайваньских передач специальный русский час на Сибирь.

Я бы и попробовал провести это через президента Чана, который всё собирался меня приглашать, да что-то не приглашал. Мне-то эта встреча, после отказа от рейгановской, была даже неуместна, но русский радиочас хорошее дело, для этого стоит. (Встреча так и не состоялась, и мне потом объясняли: после моей речи, с большими резкостями касательно Америки, Чан Чин-куо не мог открыто солидаризироваться со мной, это поставило бы его в неудобное положение. Тайваньское правительство хотело бы выиграть, не рискуя. Да никогда не посмеют они ссориться и с Советским Союзом, начинать русские радиопередачи. Ещё позже узнал: да в молодости своей, живя в Москве, Чан-младший был настолько ярым коммунистом, что в долгой ссоре с отцом, — и помирился с ним лишь после того, как бежал из СССР от ожидаемого ареста. Но закваска-то молодости — осталась...)

Вечером речь мою передавали по всем трём каналам телевидения одновременно, но по-разному снятую. Дали сплошь полностью русский голос, а китайский перевод иероглифами.

В речи моей явственен был оттенок, неприемлемый для Соединённых Штатов: что они отреклись от Тайваня. А ещё: я упомянул Грузенберга, посадившего Китаю Мао Цзе-дуна, да сравнил судьбу тайваньского народа с судьбой еврейского — это напрашивалось от равной численности этих народов, от сходной и несходной судьбы в ООН\*. Этот новый ракурс в Штатах заметили сразу, тайваньскую мою речь поддержали только правые газеты, либеральные даже не упомянули. На «Голосе Америки» несколько дней «зажимали» текст, не решаясь по-русски передавать его в СССР. А для русской секции «Свободы» третьеземigrant Шрагин поспешил составить «круглый стол», чтобы опакостить мою речь. «Как вы объясняете такие похвалы Солженицына Тайваню?» — спросил он американского *слависта* Альфреда Френдли-младшего. И тот бойко: «Наверно, его там накормили хорошо». И передачу такого уровня тут же совали в эфир на Россию — директор Бейли на «Свободе» успел снять, но это ему потом припомнили, при увольнении, как одну из главных вин. — (Позже достиг меня текст и московской радиопередачи «Мир и прогресс» на Китай, 18 ноября. Каждый в Советском Союзе и во всех частях мира знает, кто такой Солженицын: фанатический антикоммунист и адвокат автократической монархии, изменник своей родине, сейчас на Западе защищает интересы богатых. Заявление, которое он сделал на Тайване, несомненно доказывает, что поездка предателя — часть вашингтонской враждебной политики по отношению к Китаю. Расточая похвалы режиму Чанг Чинг-ку (Чан Чин-куо), этот ультраантикоммунист стряпал разные слухи про Китайскую Народную Республику (это — Грузенберг...). В роли агента Вашингтона Солженицын применил высшие усилия своей элоквентной риторики, чтобы заострить амбиции тайваньских тиранов. — Как и всегда: жернова с двух сторон.)

Ещё три дня я пробыл на Тайване после речи. Уже хотелось кончать путешествие, рвался уехать раньше, да не позволяло самолётное расписание.

Позвали меня посмотреть фильм «Портрет одного фанатика» по «Горькой любви» Бай-Хуа, запрещённой в континентальном Китае. Очень он меня взволновал, так щемили даже обрывки реальных сцен из краснокитайской жизни. Вот что значит сохранить кусочек своей территории — хоть для изречения правды. Сказал им: «Такие фильмы могут делать только перестрадавшие люди. Ни в какой Америке такого фильма никогда бы не сделали. Нигде нельзя так выразить Китай, как с территории свободного Китая. Завидую вам: у нас, у русских, нет такой территории, и мы не можем сделать подобного».

Осматривал музей китайских сокровищ. На поездку железной дорогой по восточному берегу (что-то вроде нашей Кругбайкальской) не хватило уже времени. Даже и Тайбея толком не видел: совпало их празднество, годовщина освобождения от японской колонизации, митинг, парад, — неудобно мне было мельтешиться. А остался на лишний день — новые приглашения. Не поехал в университет получать докторскую, не поехал в академию за тем же, — а тут приглашение генерала от гарнизона Пескадорских островов, — нет уж, увольте. Всегда надо знать точную меру отъезда.

Приготовил прощальное заявление для прессы. Спустились прочесть его в вестибюль гостиницы. Человек 30 корреспондентов засвечивали лампами, шёлкали, подсовывали микрофоны целыми связками.

Ещё предстоял мне прощальный ужин, который устраивал старик У Санлин и его Фонд. Поехали ещё в другой отель. Тут увидел я руководителей трёх тайваньских партий — гоминьдана, всё той же «молодёжной» и — социал-демократической. Последнего спросил: разделяете ли вы положения моей речи? — и с удивлением узнал, что — да. (Но, передавали мне, в либеральных

---

\* «Публицистика», т. 3, стр. 96 — 102.

интеллектуальных кругах недовольны: почему я не требовал беспредельной демократии в Тайване? Даже какой-то ответный «круглый стол» из профессоров успели составить по телевидению.) Уже все собравшись, ждали ещё 40 минут, пока министр информации привёз мне подарок от президента Чана: книгу по-русски его отца Чан Кай-ши «Три народных принципа». Не смели начать раньше...

Потом сели 15 китайцев за круглый стол — и начался двухчасовой изнурительный для меня ужин. Посреди круглого стола — концентрический вращающийся диск, на него и ставится каждое новоприносивое блюдо, а потом всего одна официантка, крутя диск, накладывает палочками в тарелки в строгом порядке: мне, потом справа от меня двоим, потом слева двоим, опять справа и слева (и вращает диск в разные стороны и всё время бегает вокруг большого стола), потом против меня хозяину, лишь потом трём второстепенным гостям около него. И эта процедура тоже продолжалась раз 16, сколько было блюд. Затем я заметил, что никто не начинает есть, пока не начинаю я. А некоторые блюда я и в рот взять боялся, затрудняя общую череду. Но вот — подали несомненную свинину и несомненную говядину — тут мне пояснили, что по китайскому обычаю нельзя доедать всё дочиста, а обязательно оставить что-нибудь на блюде. Напротив, заметил я: из рюмки лучше и не отпивать, сколько бы ты ни отпил — сейчас же дополняют. Китайцы пьют не так, как японцы, не осторожничают. У них даже изматывающая система поодиочного вызова на питьё: достаточно одному поднять рюмку в твою сторону — и ты должен с ним отдельно выпить, затем со следующим, со следующим (и вино пьют — горячеватое). Был, конечно, и омар — целый, в чешуе, с искусственными красными глазами, а куски вынутого и распаренного мяса отдельно, запах невыносимый. Был суп из птичьих гнёзд. Была свинина в четырёх видах: сперва целый большой кусок, но от него выдают только по кусочку жареной шкурки; потом — нарезанные ломтики её; потом грудные косточки, сильно зажаренные; потом отдельно жирные поджаренные куски. Я думал — не дождусь, кончится ли когда ужин. А серьёзно разговаривать было нельзя: переводчик мой никуда, и только у двоих чёткий английский — так мой ограничен. Кроме двух дюжин комплиментов о моей речи, и что мой приезд составит эпоху в Тайване (потом, действительно, постановлением парламента включили мою речь в школьные хрестоматии), да моих соображений им о русско-китайских путях, разговаривать не пришлось, они взялись между собой по-китайски, а я скучал. Наконец дождался десерта, но и это не конец, теперь фрукты в несколько приёмов (официантка художественно раздавала). Затем все стали слегка кланяться, чтоб я ещё более поклонился, я так и сделал — и стол распался.

После моего прощального заявления корреспонденты дежурили и на аэродроме и в гостинице. Но отъезд был устроен умно: из гостиницы уехали с чёрного хода, гнали на аэродром уже с опозданием, когда шоссе было чистое. На аэродроме ввели ждать в совсем отдельное помещение и на самолёт посадили отдельным трапом, прежде всех. И в пустом салоне второго этажа китайской линии ехали со мной только трое мужчин, теперь я уже понимал, что охранники. (Походило это в чём-то на мою высылку из СССР...) Через Тихий океан летели 11 часов без остановки, утомительно.

В Лос-Анджелесе на пересадке так оскорбительно неприятно ударил грубый американский дух: взрослые мужчины в вестибюле свистят, развязные девицы, преувеличенно важные толстые негритянки. Ощущение страшно чужой страны, не ближе Японии! — и почему я тут живу? Неужели не мог найти породней? И внутренность самолёта TWA — как тёмный неуютный сарай, в который натыкано кресел. Нерасторопные неряхи-стюардессы. Сколько самоуверенных лиц, и привыкли американцы к самолётам, как к трамваю. Ноги задирают. А на экране три часа выплясывал дурацкий фильм, спасибо что хоть звук — в наушниках, можно не слышать.

При полуночном подлёте, с большой высоты поразил ночной Нью-Йорк: не различить никаких отдельных огней, ни даже магистралей, а как будто всё

это крокодиловидное удлинённое пространство освещено каким-то адовым солнцем, вырвано им из тьмы. Источник света как будто внешний к освещённому предмету, но непонятно откуда идёт.

Считать ли, что хоть тайваньская речь разнеслась, поработала, может кого и усовестила? Не знаю. Прошло несколько месяцев — ещё меньше понимал.

Нет, вся эта поездка на Дальний Восток, да ещё со специальной подготовкой, — потерянное время, слишком роскошная трата его сравнительно с писательскими задачами. Наверно, не надо было мне во всё это вступать, а сидеть да работать дальше.

\* \* \*

С бодростью я ехал в дальневосточную поездку, но с каким же наслаждением вернулся домой: вот оно, моё истое место, теперь опять годами не сдвинулось! Хватайся опять за «Красное Колесо»! — вот оно, счастье: работа.

Так несомненно казалось, что теперь — никуда, а прошло всего две недели — письмо от Джона Трейна, из правых американских кругов (финансист и консервативный журналист): если будет мне присуждена Темплтоновская премия (религиозная, никогда о ней не слышал), — то приму ли я её? поеду ли получать в Лондон из рук герцога Эдинбургского, супруга королевы?

При сём брошюра, со спиральной туманностью на обложке, в ней — пояснение этой странной премии: «установлена, дабы привлечь внимание к лицам, нашедшим новые пути для возрастания любви человека к Господу или понимания Господа... новые и эффективные методы внушения Божьей мудрости». Немного отдаёт каким-то масонством? розенкрейцерством? Но успокаивает, что они не ищут отменить все религии ради единой сверх всех, а премия «скорей стремится поощрять преимущества разнообразия». Присуждается «лицам, имеющим особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного кризиса в мире». Мать Тереза получила, брат Роже Шутц. Десять раз присуждалась, а православному ещё ни разу, — как же не использовать момент, сказать на весь мир о своих? Но неприятно, что десятым, моим прямым предшественником, оказывался Билл Грэм, в самые дни получения этой своей премии скандально заявивший, что *не заметил* преследований религии в СССР (он только что был там впервые, и его пышно встречали).

Пишут: объявление премии — 2 марта, а получать в Лондоне — 10 мая. Так ещё полгода до нового разгона, и зиму на месте? Согласился.

(О самом Темплтоне ничего не было известно, кроме того, что миллионер. Лишь весной прислал Трейн книжку: разбогател на том остроумном методе, что надо покупать акции, которыми большинство пренебрегает, или вовсе даже бросовые, в момент кризиса, если впереди ожидаешь бум. Остроумие — разве не более приемлемый источник, чем капиталы братьев Нобелей, по оплошному простодушию российского правительства почти безналогово вывезенные из России? А ещё Темплтон «иногда покидал выгодные занятия, если отнимали слишком много времени: никогда не следует быть так занятым, чтоб не хватало времени думать — обдумывать и свои вложения, и большой мир, и религиозные аспекты». Вот такой американский протестант-пресвитерианец, в колоннадном белом доме на Багамских островах.)

Согласился я: ещё ли там и дадут — а пока открыта была полугодовая протыжка для работы. Почти вся она пошла на 3-ю редакцию «Марта». С удовольствием вёл её после дальневосточного перерыва. Собственно, это было моё первое прочтение «Марта» сплошное, подряд: такая четырёхтомная машина, что, прорабатывая её в разное время в разных частях, чаще прослеживая горизонтальные персонажей и действий, я только мысленно держал в голове, как это представится по вертикалям дней, — а вот впервые прочёл по вертикалям. И они — не обманули меня. Но в самих главах, и в мелочах, и в повторах — ещё совсем не мало оказалось работы. И после 3-й редакции только тот и вывод, что понадобится ещё 4-я, — да не сразу, а ещё с перерывом же. В эту

зиму много надо было докончить, чего не успевали с Алей раньше: отпечатку конца «Октября», второго тома, а значит ещё редакция.

И ещё: настойчиво хотел я напечатать в «Вестнике» «Наших плюралистов» (сперва стояли они фрагментом главы «Тараканья рать» в «Зёрнышке»). Собирался ещё годом раньше, Аля была против. Составлял я «весы», и даже не один раз. За было то, что не следует так уж многолетне покорно уступать русскоязычную аудиторию и в эмиграции, и в России, дать же проясниться и сознанию сторонников; вовремя отметить опасное течение будущих новых февралистов; это — естественное продолжение моей «Образованщины», отчего ж не проследить её дальше, за семь лет один раз и ответить, неверно давать клевете присыхать; да уже написано, сейчас не напечатать — через 10 лет совсем остынет, никому не нужно будет и в «Зёрнышке». Против — что, однако, нет и острой потребности, и что главное моё дело — совсем не в этой полемике. И, настаивала Аля: они, мол, и так блекнут, тонут (о, ошибочное предсказание), не надо до них опускаться, и такая мелкая побочная дискуссия не интересует наших на родине, я только оторвусь от России. (И тоже не так.)

Всё же я решил печатать. Аля прежде всего, по своей хватке, кинулась строго проверять цитаты из «плюралистов» — а страницы не все у меня были точно указаны, листала она эти сотни мерзких страниц вновь. Когда я все эти книжёнки сам прочитывал в прошлом мае, мне все жилы тоской вытягивало, что я делаю ничтожную бесполезную работу, — а в таком пренебрежительном состоянии нельзя работать: обнаружила теперь Аля, что я наторопился, наошибался при выписке цитат, — большей частью безвредно, а всё равно неуместно, ибо будут вцепчиво придираяться. Всё нашла, всё перепроверила, — неуязвимо. Затем, доказывала: не имею я опыта спора со многими мелкими, переносу сюда страстный тон, уместный в противостоянии с Чудищем, но не с тараканьей ратью, — и, во многих спорах, срезала мою раздражённость, ковала в сдержанность. (Я и сам знаю, что сдержанней — всегда внушительней, но трудно удержаться.) А центральное её предложение: я указывал опасность, что «они хотят вернуться и руководить по меньшей мере русской культурой», — она убеждала, что *эти* уже неплохо устроились на Западе, не всем им так сладко и возвращаться в голую страну, а реальная опасность, что *такие вот*, и в ещё большем множестве, созрели в СССР под чугунной коркой режима — и вот *они-то* встряхнутся в тот день Икс. И ведь права, зорко видит. Это я принял, наверное так: там, под советским панцырем, не созрел ли уже такой же резвый рой, если не десять их? И ещё убедила меня Аля на несколько важных композиционных перестановок в статье, верное чутьё и на композицию.

А за всем тем объявили мне в Вашингтоне премию. Даже — за три недели раньше поздравили меня и Темплтон, и Трейн, и даже... американский экс-президент Джеральд Форд, который, оказывается (это не было объявлено раньше) состоял среди присуждающих международных судей. И теперь Темплтоновский фонд сверхпрограммно звал меня в Вашингтон, чтобы я присутствовал при объявлении, и даже бы пресс-конференцию давал. (А Форд — тоже приедет и будет демонстрировать наше «примирение».) Да разорваться! Такого условия вы мне не выставляли, я б его и не принял никогда: не говоря уже — сейчас работу расстраивать, но за одной и той же премией два раза ездить? — да в чучело превращают. Так и ответил: нет, не могу, поеду только в Лондон. А пока — отделался малой телеграммой. (Так понимаю, что Темплтоновский фонд обиделся на меня.)

Но оглашённые в Вашингтоне и присланные мне материалы по присуждению оказались глубже, чем я от них ожидал. Самой удивительной была формулировка, что «доказана жизненность православной духовной традиции в России» — о чём и идёт наш самый горячий спор с врагами России. Референты Темплтоновского фонда — или судейской коллегии? — потрудились, поискали, понабрали по моим книгам, чтоб бы положить в присуждение. Верно нашли: и моё стихотворение в лагерной больнице, в «Архипелаге», и мою отдельную «Молитву».

И поразился я непредвиденным путям. Ведь уже который раз печатают эту Молитву, ссылаются на неё, впечатлены ею, — а ведь я её в мир не выпускал — это сделала Елизавета Денисовна, самовольно, и я её как бранил за то! Так же самовольно, как и дохранила «Архипелаг» до гебистов, и выпустила «Архипелаг» в мир. И за оба самовольства я должен только благодарить покойницу. Была она — орудием Божиим.

Значит — на премию надо готовить ответную речь. Ещё задача. Все годы я интуитивно избегал прямо говорить о вере: и нескромно, и оскорбляет чуткий слух: не гоже декларировать веру, но дать ей литься беззвучно и неопровержимо. А вот сейчас — подошёл момент, нужна речь именно на религиозную тему. Однако от первизны эта речь и для меня самого оказалась ещё ступенькой. Особенно — в понимании земной жизни как ступени развития жизни бесконечной. Я и давно уже так понимал и писал, что цель земной жизни — окончить её нравственно более высоким, чем начал. Однако цель духовного развития не простирается ли и за земную грань?

Тут ещё, из глубины десятилетий, мне подал руку земляк Игорь Сикорский: аэроконструктор, он, оказывается, занимался и философией мироздания. Одну из таких речей его, 1949 года, перед маловнятливыми американцами, мне внезапно прислал его сын — и она ещё подтолкнула меня в соображении, что загробной жизни доступны скорости выше световой — а только при этом условии и может Вселенная быть обиталищем. (И только тут я понял окончательно, почему самоубийство — такой великий грех: это — добровольный срыв развития, отталкивание Божьей руки.) Стало для меня всё — твёрже на места.

Конечно, как всегда у меня, создался и в этой речи избыточный политический заряд, но без этого на Западе мне выступать не удаётся, всегда набирается что-то им высказать. И о Западе вообще, и как они безнравственно ввели в мир ядерную бомбу — уже побеждая! — и на гражданское население. Не так проста мировая картина. Не мог я не зацепить и подозрительно просоветенный Всемирный Совет Церквей. И нельзя было смолчать о прошлогодних лукавых выступлениях Билла Грэма. Теперь ещё потому нельзя, что они кляли пятно и на саму темптоновскую премию.

Но если и в такой речи я не могу отвлечься от политики — значит, мне вообще лучше не выступать. Надо кончать.

А ещё, оповестил Фонд, нужно сказать и 4-5-минутную благодарственную речь принцу Филиппу в Букингемском дворце. Что же делать? Моя главная речь и так раздувалась больше заказанного. Я решил разделить материал и сделать малую речь как бы частью целого.

Но и речи уже были готовы — оставался до Лондона месяц. Набиралось разной подготовки — для встречи с издателями, для встречи с переводчиками: излюбленным моим Гарри Виллетсом, который так медленно, но так успешно переводит мои книги, с милым Майклом Никольсоном, который переводить чаще не берётся, но экспертирует переводы и так пристально собирает всю библиографию обо мне, очень помог Але с примечаниями к публицистическим томам Собрания. Ещё — с Мартином Дьюхерстом, — тоже, казалось нам, обещающим переводчиком. А тут ещё неожиданно вышли по-английски мои «Пир победителей» и «Пленники», и ещё два новых имени переводчиц, — так надо их повидать, может они — находка? Так ещё раньше надо анализировать их переводы? (Автору это бывает доступней, чем даже и знатоку обоих языков.) Сел, немало потратил времени, нашёл и достаточно ошибок, но и, показалось мне, неплохо передан тон, настроение, несмотря на прозаический перевод стихов. (Отчасти и доказательство, что есть в «Пире» неутериваемое зерно. Я к этой пьесе сохраняю нежность.)

Да небольшое чтение об Англии как таковой.

А тут как раз, в марте (1983), навис арест над Сергеем Ходоровичем. Он успел выпустить заявление, и мы успели поддержать его своим, но тщетно: в начале апреля его арестовали. И не успела обернуться наша с Москвой пе-

реписка, что, при андроповском крутом повороте, лучше бы следующему распорядителю официально не объявляться, не класть себя обречённой жертвой, — как Андрей Кистяковский (его кандидатура была согласована с нами прежде) объявился — и в этих днях пришло известие, что тут же и хватили его в ГБ и предупредили о скором аресте. И вот, против всех сил физических полей, когда не этим заняты уши и внимание Запада (да и понятно), — Аля начинает кампанию в их защиту: ведь, по-андроповски, им придумали клеить *измену родине*.

Тайные движения в сферах советской власти не всегда предугадаешь. Несколькими месяцами я не высказывался, выдерживал срок, пока Андропов проявит себя яснее. Ускорением поворота северных рек и с ареста Ходоровича он для меня уже определился до конца: всех-то его новых идей — закручивать гайки под Сталина.

И в это же время пришла просьба от Темплтона: дать в Англии пресс-конференцию. Самая бесполезная форма, но отказать Темплтону я не мог. Поставил только условием, чтобы — малое число корреспондентов, не толпа.

Что ж, и так уже перекорёжены эти месяцы для работы, погибайте и до конца! Часа по три в день ещё успевал я окунуться в газеты «Апреля Семнадцатого», только растрата. А занялся, как и перед Японией, приведением в порядок публицистической картотеки (заготовок), теперь европейской. Что ж, это тоже не без пользы, и даже уместно какое-то уравниловеньё с дальневосточной поездкой?

С западными журналистами не намного трудней, чем с советскими бонзами: в общем, всегда известно, что у них дежурное, на кончике языка. Сейчас первое, конечно: как я отношусь к противоядерному движению в Европе. Самое простое сказать, что движение подпитывается Советами. И так оно и есть. Но, посетив Хиросиму и после учёных предложений профессора Гёртнера, как уничтожать избирательно этнических русских, — имея повод лучше обдумать американские ядерные достижения, я уже в темплтоновской речи поднялся осудить и их, и всю идею ядерного зонтика. Так ясно мне увиделось, что, потянувшись за сатанинским даром ядерной бомбы, Запад тогда же и лишён был разума: он держался за этот смертельный цвет как за свою защиту, а в ней-то и таился губительный соблазн: вослед западные мужи — Рассел, Кеннан, Гарриман и десятки — стали умолять своих к уступкам, уступкам, уступкам коммунизму, только бы не было ядерной войны. (Впрочем, я никогда не верил, что она разразится: это было бы уничтожением замысла Творца о человечестве.)\* Приготовил я для пресс-конференции подробный чёткий обзор проблемы, хотя длинный. (Я опять забыл главный-то порок пресс-конференций: что ни один ответ не пронырнёт целю и связно, а каждый корреспондент выдёргивает из него клочки и лохмотья.)

Были и другие вопросы-ответы, мы с Алей отвечали попеременно. И о Ходоровиче, о судьбе нашего Фонда в СССР\*\*. Пресса раздёргала по мелочам, кто что в клюве унёс.

Между тем необходимые или даже неизбежные встречи в Англии всё налипали, и все стягивались на Лондон, как будто он давно заказан, только туда и ехать. Но сверх их всех — ещё же скорпионный Флегон там. И уже с год у меня переписка с О. С. Ленчевским, из-за меня попавшим тоже в судебный переплёт с Флегоном. Да просто: самую первую изо всех лондонских встреч и надо назначить с Ленчевским. А значит: ещё пачку судебных документов, при-

\* Все 70-е годы и начало 80-х я бесспорно ожидал новых побед коммунизма. Да в те, дорейганские, годы Америка только проигрывала и отступала везде, и брежневская клика имела все силы успешно кинуться на Европу, и Форд, и Картер сплошали бы. Но наши постаревшие вожди ещё хотели пососать жизнь в своё удовольствие, а тем временем Рейган укрепил Америку, — и перед новой гонкой вооружений советская экономика (но не наука!) спасовала. Так, ещё до Андропова, кончился ленинский натиск на планету. (Примеч. 1990.)

\*\* «Публицистика», т. 3, стр. 104 — 119.

сланных им раньше, по своему делу, успеть прочесть до Лондона — хорошее занятие для писателя!

Олег Станиславович Ленчевский, 67 лет, высокого роста, жилистый, энергичный, оказался неуклонен к истине и несгибаем в принципах, — какие люди в наше время встречаются нечасто. В 1961, бывши успешным научным исследователем и притом членом партии, посланный на конференцию в ЮНЕСКО, он стал невозвращенцем и оставил в Москве беззащитную семью — ради того, чтобы выступить с публичными обращениями к Хрущёву — об ошибках внутренней и внешней советской политики, росте правящего класса, контроле над мыслями, а он не хочет постоянно покорно со всем соглашаться и голосовать всегда «за». Кроме русского желания выговорить душу — была у Ленчевского и (призрачная) надежда найти на Западе сочувствие к страданиям нашего народа.

И попала его семья в жестокие притеснения, и самому ему нелегко далась эмиграция, перенёс он и рак (однако одолел его). Устоял в новой трудной жизни, одно время работал на Би-би-си, потом зарабатывал техническими переводами. А через 20 лет, в 1981, попал в горшую беду, когда вмешался защитить меня от флегонской грязи. С этого момента потянула его в себя заглывающая машина неперемняемого британского суда, по моим впечатлениям — гниющая язва современной Англии.

Флегон тотчас принял меры запутать Ленчевского, а после достойного ответа его — подал в суд. (Не знаю почему, но в Англии такой суд сразу оказывается «Высоким».) Ещё месяцем спустя «Гардиан» напечатала пошлую статью: «...русские писатели устроили бурю в самоваре... Каждый русский эмигрант, который чего-нибудь стоит, уже покупает билеты — ехать в Лондон на суд». Тут же не кто иной, как Давид Бург, благосклонно комментировал книгу Флегона. Ленчевский тотчас вослед в «Гардиан» ответил о ней: «Многие ли читатели „Архипелага“ и „Ракового корпуса“ согласятся считать автора их — лгуном, предателем, трусом, лицемером, сплетником, прелюбодеем, лжесвидетелем, мегаломаном, параноиком, болтуном, бесчестным демагогом, к тому же скрывшим своё еврейское происхождение, и к тому же антисемитом... Изобилие грязных русских слов должно [по расчёту Флегона] сделать книгу приманкой для покупателей». — А дальше, покидая свои заработки, ушёл в суд с Флегоном с нарастающей страстью. Хотя Флегон и знал Ленчевского по Би-би-си, а недооценил его упорства и принципиальности, тронул его сутяга себе на беду.

Ленчевский надеялся: по мерзкому качеству книги Флегона почти на каждой её странице, — легко набрать 15 — 20 свидетельств добрых людей и завалить ими стол суда, чтобы качество флегонской книги, недоступной английскому читателю, кроме наглых иллюстраций, не вызывало бы сомнений. — Но как бы не так, не рассчитал он духа российской эмиграции, да впрочем вполне и естественного; запрошенные им в Париже эмигранты отвечали: «да нечего с Флегоном связываться, лишь делать ему рекламу». И дал просимый «аффидевит» (свидетельство под присягой) лишь один Олег А. Керенский (с которым мы совсем недавно перед тем спорили о роли его отца в революции): «Я никогда не читал ни на одном языке более оскорбительной, непристойной, порнографической, поносной и расистской книги... текст написан матом и оскорбительными выражениями, не употребляемыми в нормальной русской литературе».

Однако Ленчевский, по своей страсти к справедливости, уже раззадорился: раз и навсегда прижать этого «уникального террориста с печатным станком», во всех прошлых судах уходившего от наказания. Текли месяцы и месяцы обычной судебной затяжки — а Ленчевский систематизировал флегонские дела всё по новым и новым реестрам: и почему эта книга — ниже уровня литературного произведения; и набор порнографических мест; и сравнительные перечни цитат, как благожелательно отзывается Флегон о КГБ и как враждебно о ЦРУ; и подборка антисемитских мест (антирусскими английский суд не заденешь). Всё это заставило оборонщика моего произвести самому более 70 страниц доказательных переводов из 1000-страничной книги Флегона, огромная работа, потом заверить точность этих переводов у авторитетных двуязычных англичан — Питера Нормана и — неожиданные для меня фамилии — Джеральда Брука и Майкла Гленни. Сочувствующий мне Л. Финкельштейн-Владимиров, тоже с Би-би-си, управился получить письмо от исполнительного директора

Совета британских евреев в книжный магазин Фойлд: «Книга враждебна к евреям, я не хотел бы дать ей незаслуженную публичность». (На самом деле книга Флегона — резко анти-русская, а не антиеврейская, но и тут он вывалил несколько скользких выражений и анекдотов.)

От этих проявленных шагов Ленчевского Флегон замялся, не ожидал такого упорства, в прежних своих судебных историях он скорее встречал жажду примирения от пуга. Он — затаился, не стал отвечать на вызывные повестки, не стал являться к «Мастеру» (низовой судья для промежуточных процессуальных решений), — впрочем, в очередной рекламе своей книги ещё по-новому исказил слова Ленчевского, последовал новый протест Ленчевского: запретить и ту рекламу! Извивчив Флегон, за ним только следи.

На долгих этапах всегда длительного процесса прославленная английская Фемида проворачивает свои жертвы по чисто формальным внешним признакам, с упором на сверхтщательную процедуру, безо всякого вникновения в суть дела. Тщетно взывал Ленчевский, чтобы кто-то в суде хоть перелистал, в чём же состоит дело, и какова многотяжебная история самого Флегона, и что это за фигура. Он набрёл и на такую статью, 3390, английского закона: об ограничении безосновательных тяжёбников, — но как её применить? А Флегон — как рыба в воде в этой судебной мути, и очень к нему благоволят судебные власти как к фигуре обиженной, беззащитной и безденежной. Вот, он успешно оттягивал невыгодный для себя суд. Возник слух, что он тем временем готовит английское издание своей книги, и, вероятно, сократит в нём неприемлемое, и ещё придётся заново доказывать в суде, что это — «не то».

Ещё летом 1981 Ленчевский послал мне письмо — но не по почте, через Яниса Сапиета, — а тот решил меня не отвлекать и не передал, мало веря, что у Ленчевского что-то выйдет, его и все вокруг отговаривали: бросить дело, покинуть, даже хоть откупиться. И о его деле я узнал стороной, с опозданием в несколько месяцев, написал ему первый, уже летом 1982. И тогда он отозвался: надеется — уже близок конец суда с Флегоном, «теперь уже не он, а я настаиваю на передаче дела к слушанию, преступный истец стал ответчиком по моему делу... такой увёртливый сутяга просто не предусмотрен английскими законами», но надо его уловить. Этот твёрдый уверенный тон поразил меня. Напротив, Флегон проявил слабость и в том ноябре написал Ленчевскому письмо, притворно раздуваясь в боевой вид: что он *согласен* остановить свой иск, если Ленчевский заплатит ему расходы по суду, потерю дохода от письма в книжный магазин и возьмёт назад свои обвинения о книге.

«Платить» — это было выдвинуто с запросом, а из десяти человек в положении Ленчевского девять согласились бы на мировую, только бы отвяжаться. Но — не таков Ленчевский, он видел тут защиту не столько меня, сколько «Архипелага»: «Вечная память о моих сгноенных родных и долг перед ними, у меня тоже пепел Клааса бьётся в груди».

И уже назначали дату суда — на июнь 1983. А Флегон применил вот какой изумительный ход: он попросил теперь суд о разрешении переформулировать свой первоначальный, уже полуторагодичной давности иск к Ленчевскому, — так расширить, чтобы иск распространился и на Солженицына, и на «Имку», — то есть зигзаг кляузы, какой не снился и Диккенсу: за *свою* клеветническую против меня книгу подать в суд *на меня же* (при полном моём бездействии) — *за клевету!* (Всё-таки нужно ему непременно, чтобы процесс был между им и мной по поводу этой книги.) И чтобы судил не судья, а присяжные. (Ленчевский: тогда — больше расчёта напасть на дураков.)

И что ж постановил Мастер? Что надо было думать раньше? что негодно менять иск на ходу? Не-е-ет! — разрешил Флегону сменить иск.

Вскоре Ленчевскому удалось добиться (это сколько ещё усилий) летуче-мгновенного приёма у Мастера, и он поспешил втолкнуть тому, что Флегон — профессиональный сутяга и нельзя так срамить британскую Фемиду. Тот в ответ: готов ли Ленчевский согласиться на прекращение дела, с компенсацией за счёт Флегона? И разумно б ему согласиться, да уж разгорячился: «Нет, настаиваю на широком судебском разборе, чтобы всю историю осветить поучительно в общественном плане!» — И пишет мне: «У друзей создаётся впечатление, что я по децибелам начинаю перефлегонивать самого Флегона. Но — сознание затянувшегося бессилия, рот заткнут юридическим кляпом. Сознание, что в ослеплённую Россию ползёт эта мерзость». Атакующий дух! «Теснить и теснить его без устали! Он всегда выигрывал из-за оборонительности и пассивности другой стороны. Раздавить его как любое вредное пресмыкающееся целиком и поскорее, чтоб не мог за всё взяться сызнова!» И накопляет всё

новые папки аргументов и доказательств, всё новые переводы кусков из книги, уже перевёл оттуда больше трёхсот страниц, — «мой флегоноведческий опыт». Уже собралось 9 папок досье — «а в случае суда присяжных это надо размножить в 12 экземплярах, руки опускаются». (Общее впечатление от судов, не только британских: грандиозное перелопачивание пустоты, малый формальный повод распухает столбами бумаг.) Ленчевский надеется, что теперь-то, после двух лет процесса, «игра переходит в эндшпиль... близится разгром супостата». Он всё бодрится, но вот уже «усталость от борьбы начинает давать себя знать», перед моим приездом болел. Он ждёт же, что и я наконец буду сопротивляться и действовать! — недоумеает, почему же пассивен такой энергичный человек, как я?

Да, вот такая кусливая гадина, как Флегон, сколько же отнимает времени, сколько сил заставляет тратить! Но — разве есть они у меня? Мы с Алей на всё везде вдвоём, и еле-еле вытягиваем. Редкий случай вот — повезло на содействие благородного человека. Господи! Как бы мне жить, никогда не имевши дела с адвокатами? И 55 лет в Союзе ведь жил. Но на свободном Западе что ни шаг — то бери адвоката: я к тому времени уже и взял в Англии адвоката Сайкса, заочно, по рекомендации Э. Б. Вильямса. Ещё и к делу не приступав, за одни свои никчемные, и мне непонятные, свидания с Флегоном, да ненужный розыск о его истинном (скрываемом) адресе, да одну бумагу по делу — Сайкс уже отнял с меня увесистую сумму. И вот теперь в лондонской гостинице он сам, — высокий, грузный, крайне самоуверенный, — еле поместясь в кресле, поглядывает на неистового доморощенного правдолюбца Ленчевского и на мою беспопытную неосведомлённость. Только презрительно кривится на нашу уверенность, что Флегон и взаправду агент КГБ, — «да такого бы они не взяли», то есть такое ничтожество, — знает Сайкс КГБ?.. Он знает — свод английских законов, набор юридических приёмов, — но уже давал советы Ленчевскому, и всё ошибочные. И как же ему вести моё дело, где я именно назвал Флегона агентом? Уже в это свидание я решаю, что надо нам расставаться.

Весь Западный мир взаимно пронизан международными договорами о судебном розыске — да не уголовном, а сугажном. За всякое свободное прямое слово — из любого дальнего угла планеты выползает на тебя иск о клевете. (Не влезла бы хоть будущая Россия в такие договоры!)

Повидавши своими глазами всю безнадёжность, непроницаемость грузного Сайкса, я только и хочу: как бы мне отвязаться и от него, и от судебного процесса, нет у меня жизненного времени для кляузных этих судов и несчётных судебных бумаг по-английски.

Умный на суд не ходит, а глупый с суда не сходит.

И снова настойчиво бьётся во мне мысль: да зачем я признал английский суд? зачем я брал этого неловкого адвоката? — ну пусть себе судят заочно, присудят сколько-то, наложат штраф на мой счёт в английском издательстве. А *выиграть* суд против Флегона мне никак невозможно: он всё равно объявит себя банкротом, и вся оплата ляжет на меня же. Да надо признать, что и пойманная в «Телёнке» фраза действительно трудна к защите, ибо сравнением со «Штерном» вроде ясно, какой это «Центр» руководит ими. Однако вот ведь затыгивающая воронка: Ленчевский-то все силы до измота отдаёт этому процессу — по сути, в защиту мне. Горят его глаза азартом борьбы: неужели же я не поддержу фланга? Получается, что надо поддержать. Надо — отбарываться. Ах, кто хочет драться — тому надо с силой собраться.

Что Сайкс ничем не будет мне полезен — это Ленчевский видел ещё раньше меня. Но советует мне: взять настоящего боевого адвоката, он поможет найти такого.

Может быть, и правда так? Поручаю ему присматриваться. А сам, воротясь в Вермонт, пишу Сайксу категорически: замереть в действиях, не предпринимать без меня ни единого шага. Да успокаивает и оценка: что суд не состоится раньше как через полтора года, — а полтора года это прекрасная отложка, сколько льготного писательского времени, сколько ещё можно сработать!

В том 1983 году Ленчевский нашёл мне в Лондоне трёх кандидатов в адвокаты, я вступил с ними в переписку. Один, Лионель Блох, весьма к себе располагал: энергичен, резко политически настроен, понимает игру КГБ, знает и прошлые судебные случаи Флегона. И я бы заключил с ним, — но он стал рисовать мне, что нужен самый широкий процесс с привлечением экспертов по коммунизму, с моим непременно приездом в Англию на суд, — ну, на это всё я никак не размахнусь, лучше трижды проиграть.

И — зависаю опять на Сайксе. Как глупо, ведь каждое дело надо делать или изо всех сил, или вовсе не делать. Раз я не готов ехать и бороться — то не надо было и соглашаться ни на какие промежуточные меры.

Ведь из суда, что из пруда, — сух не выйдешь.

В бездействии проходит и 1984 год. Но суд всё-таки надвигается. В тревоге пишу Э. Б. Вильямсу: ведь погубит меня Сайкс, нельзя ли мне вовсе уклониться, не вести защиты? А оказывается: Вильямс когда-то кончал вместе с Сайксом учебное заведение, тот слушается старого приятеля, ставшего сверхадвокатом. И Вильямс берётся руководить Сайксом из Америки, а мне не надо ни о чём беспокоиться. Пишет мне: «Беру на себя полную ответственность за всё, что произойдёт отныне». А я всё-таки ещё уговариваю Вильямса: Сайкс проявил непонимание политической подоплёки дела, методы его не в уровень с задачей, ему не выиграть этого процесса. Пишу опять Блоху, а Блох стоит на своём максимальном размахе суда. И проявляю слабость: чем плох мне вариант Вильямса? Мне же только это и нужно, чтоб не читать судебных документов и голову не ломать. Прошу Вильямса взяться — и успокаиваюсь на два года. (Недопустимая никогда ошибка: жить чужим умом, вопреки своему прямому чувству. И опять же, опять же забываю о замурднёной английской системе: адвокат, то есть *солистор*, дела в суде не ведёт, он только подготавливает бумаги. А в суде ваше дело ведёт другой адвокат — *барристер*, которого вы не нанимали и в глаза не видели, — это для двойной ли оплаты адвокатов? И какой может быть у Сайкса барристер? Такой же, конечно, второй.) И сколько мы с Сайксом переписывались, и вот же выделись в Лондоне, — никогда он меня не предупреждал, что потребуется моё собственное свидетельство в суде, хотя бы письменное. А весной 1986, когда суд подступал, — пришлось срочно изготовлять такое свидетельство, и опять же Э. Б. Вильямсу, в Штатах. Ах, этот Сайкс! Да что же мне всё такие попадаютя!..

А что с судом Ленчевского в июне 1983? Флегон извернулся, не явился — и с опозданием узнал Ленчевский (вымотка нервов, ведь как он готовился), в чём именно состояло перед тем декабрьское решение Мастера: пока Флегон пересоставляет первоначальный иск — весь судебный ход останавливается *без ограничения сроков!* — хоть десять лет, раз истец не готов к суду! — таков у британского суда неизменный перевес симпатий в пользу истца. Но за это время я пригласил Ленчевского сходить к нескольким юристам, и те убедили его: ходатайствовать об аннулировании флегонского иска за отсутствием состава обвинения. И потом было решение суда: аннулировать. И снова был протест от Флегона. И постановили: восстановить действие иска! Судебный марафон потянулся ещё на новые годы.

Прилетели мы в Лондон (Темплтоновский фонд перенёс на сверхскоростном «Конкорде») незамеченными, но фамилия «Солженицын» на первых газетных страницах того дня была, — на этот раз не моя, а 12-летнего Ермолая. Перед самым нашим отъездом из дому он успел отличиться в собственной школе: их посетила дутая советская делегация (замглавред «Известий»), а Ермолай, уже втравленный в политику, задал им супротивный вопрос насчёт разоружения, да на отличном русском, какого они здесь не ждали. И сразу это подхватили американские корреспонденты, для них забава, — и даже, вот, в Англию перекинулось. Выпирает из Ермолая политическая страсть, тоже в меня? Ещё не знает, бедный, что это за трёпка, и сколько надо сил, и высшего сознания, и внутреннего устояния.

По срокам вручения премии пришлось нам приехать в Лондон как раз под православную Пасху. Из кругов Темплтоновского фонда Зарубежная церковь знала, что на заутреню мы придём в их собор. Уже днём передавали мне, и теперь у входа встретил послушник, зовя не стоять в храме, как все, а скрыться на клирос, за большую икону. Я отклонил, мы с Алей стали, где все. Прошло несколько минут, снова послушник: епископ Константин приглашает меня в алтарь. Я спокойно отклонил: хочу — где все. Аля уже сильно нервничает: несмотря на всю интеллигентность, она перед священниками — трепетно преклонная, как простонародная баба. И вот, стали собираться на крестный ход — опять за мной: епископ просит меня пойти в крестном ходу с иконой. Я и не колебнулся: я пришёл молиться среди всех, и не обращайтесь на меня внимания. Но Аля — почти в отчаянии, напряжённо шептала: «Я тебя прошу!

я тебя прошу!» Отказала и мне трезвость, я уступил. (Простодушно подумал: а ведь никогда в жизни не ходил в крестном ходе.) Пошёл в алтарь, дали мне с престола икону сошествия во ад и поставили в крестный ход — сразу за епископом. А только этого было ему и нужно: тут же появился заготовленный фотограф со вспышкой, и пока мы ступали между наставленными автомобилями (весь-то и ход, вокруг храма и ступу нет) — он меня щёлкнул два десятка раз. И в этом положении — не отмахнёшься. (И с тоской я подумал, какова Зарубежная церковь, где ж её святорусская простота: второй раз меня прихватывают фотографы при храмовой службе, и каждый раз — в Зарубежной. В Американской православной церкви в Монреале я всю Страстную неделю простоял, и они не соблазнились.) Всё. На другой день на первой странице «Таймса», на главном месте: я с туповатым видом и икона с полотенцем в руках, — в такой форме огласился мой приезд в Лондон. Для современной Европы — почти карикатура, и ликование левых.

Жаль. Это не только срывало строгую взвешенность моей послезавтрашной речи в Гилдхолле — но вредило как раз тому особенному соотношению, которое мне до сих пор так естественно удавалось: сцепление веры христианина с тоном, приемлемым для современности, никогда не перебор, — тот верный, естественный звук, которым только и допустимо не-священнику призвать, повлечь потерявшееся общество к вере.

Весь пасхальный день мы с Алей плотно прозанимались, готовясь к намеченным в Лондоне деловым встречам. Они нарастали так внезапно, как будто меня в Лондоне только и ждали. (Комната номера была без письменного стола, без места для рабочей беседы. Мы попросили убрать одну кровать, заменили нам ломберным столиком.)

Ещё ж моя вечная судьба — обсуждать поправки и поправки к переводу моих текстов, в этот раз — предстоящей речи. Всю речь ещё в Штатах тщательно перевёл А. Климов, через океан советовался с М. Никольсоном; уже и я проверял дома и просил его там-сям об изменениях. Теперь — Лоуренс Келли, сын бывшего английского посла в СССР (и автор книг о Лермонтове), светловолосый, очень живой лицом, не по-английски открытый, ему предстояло читать английский текст на церемонии, и с ним седой изящный Джон Трейн — представили мне новый реестр поправок. (Тут играли роль и американо-английские различия в выражениях.) И приходилось вникать и порой давать согласие уже без ведома переводчика — и срочно это шло на перепечатку. Забытое счастье молодости: писать по-русски и ни о каких переводах не думать.

Ещё я должен был с Келли проверить разметку — где ставить паузы кроме точек, чтоб он не переводил ни больше, ни меньше, чем я произнёс, иногда и по синтагмам, — такой метод перевода я считаю наилучшим для восприятия переводимой речи, от неё выигрывает и русское звучание. И затем — такая же работа с Трейном по короткому Ответному слову принцу Филиппу, но затруднённая тем, что Трейн не знает ни слова по-русски.

Вечером в Светлый понедельник в программе стоял «приём в палате лордов», мы с Алей прочли с большим удивлением. Оказалось — совсем не лорды, а только лордское поместье, вестибюль, арендованный сэром Темплтоном для своей многочисленной родни и друзей, съехавшихся из разных концов света: премия вручалась только 11-й раз и процедура сохраняла характер семейности. Был это, по американскому обычаю, невыносимо пустой приём: стояние с бокалами в левой руке, а правыми рукопожатия, представления, представления, тут же и забывание. — Пользуясь близостью, нас с Алей сводили в зрительскую ложу и самой палаты. Ещё не кончилось вечернее заседание, на котором присутствовало, не совру, — 10 лордов, остальной зал пуст (наверное, не пленум, а комиссия), и в пустой глухоте большого зала докладчик важно разбирал вопрос о ловле красной рыбы.

Хорошо, что весь приём длился всего полтора часа. А оттуда сразу мы поехали на ужин к архиепископу Кентерберийскому Рамси.

Архиепископ живёт в полузамке, выдержанный английский стиль и двора, и здания, и внутренних помещений — и в духе том же всё убранство. Госте-

приимство, приятный ужин не охлажден чопорностью ни изготовления, ни подачи. Архиепископ ко мне чрезвычайно ласков (но, вероятно, и ко всем, а среди его предшественников были и прямо красные) — и я спешу просить его публичного заступничества за арестованного Ходоровича. Обещает. (Наслышанный о дипломатии англиканской церкви, не имел я уверенности.) Было у меня задумано что сказать архиепископу и более наглядное: как в январе тут обнимали митрополита Киевского Филарета и аплодировали политическим ораторствованиям ленинградского профессора Сорокина, — и ни один англиканский священник в ответных словах ни звука не проронил о преследованиях религии в СССР, — да ведь зачем им ссориться с могучими на пропаганду советскими властями? Сокращённо — я сказал своё приветливому архиепископу — но без надежды: броня благополучия — самая толстая из бронь. (Через несколько дней я прочёл в «Таймсе», что в последние десятилетия английские церкви заметно теряют молящихся. Да это и всемирный процесс.) На ужин порывалась приехать и Маргарет Тэтчер, но не удалось ей, да тут была бы и не встреча, скомкалось бы. Однако присутствовал милый старый джентльмен Лоуренс ван дер Пост, доверенный и её, и принца Чарльза.

---

Солнечным утром в наш Светлый вторник мы поехали в Букингемский дворец, миновали перед воротами всегда дежурящую публику любопытных, затем — незапоминаемая череда ступенек, вестибюлей, служителей (но куда, куда до нашего Зимнего, и не сравнивай!), — и вот уже были в каком-то зале с умеренным числом зеркал, отделанных стенных панелей, канделябров, старинных кресел и диванчиков. Присутствующим была всего дюжина. Церемониймейстер выстроил нас изогнутой вереничкой по одному, начиная с меня, Трейна, Али, четы Темплтонов, за тем — не знаю, кто были, меня не знакомили, ну и администратор Фонда Форкер.

Принц Филипп — высокий, за пятьдесят, а стройный, с военной выправкой (морской офицер), в обычном костюме, — вошёл в одну из дверей несколько не важно, не чинно, с ненаигранной простотой, притом и быстро, по-деловому. Обошёл всех, пожал руки, сказал мне, что и он по рождению православный (греческий принц, я знал), — тут ему поднесли грамоту, перевязанную трубочкой, коробочку с медалью, конверт с чеком, он с простыми жестами произнёс перед вереничкой несколько приветственных слов, передал мне (всё сфотографировалось дворцовым фотографом), я — Але, и стали мы с Трейном читать Ответное слово\* — вероятно, слишком значащее для этой небольшой аудитории и церемонии, но, наблюдала Аля, — и принц, и присутствующие были тронуты. На всех снимках мы видим скромную светлую улыбку Джона Темплтона (так он слушал потом и мою речь в Гилдхолле), — естественная и добрая у него скромность, и видно, что радуется укоренению своих премий — своей будущей памяти на Земле.

В дневной перерыв между церемониями мы ещё успели повидать приехавшего из Кента достойного Николая Владимировича Волкова-Муромцева, одного из наших замечательных стариков-воспоминателей, с чьей книги мы начинаем мемуарную серию. К сожалению, к тому моменту всё ещё не вышла его книга (а он уже так стар), у него же написана, оказывается, и история русского флота. Посмотрим. 60 лет он в эмиграции, и всё — в Англии, в русском разрезе, годами не говоря по-русски. Свои воспоминания по-английски он предлагал издательствам, никто никогда не заинтересовался\*\*.

---

\* «Публицистика», т. 1, стр. 445 — 446.

\*\* Его книга в нашей серии потом впечатлила и советские власти, и присылали к Н. В. на консультацию восстановителей грибоедовского имения Хмелита Смоленской области, узнавать подробности уклада и мебели. (Примеч. 1990.)

В предвечернее время мы уже ехали в Гилдхолл. Это — как бы дом городских лондонских приёмов. Он построен в 1411 году (но ещё прежде на этом месте стояло нечто подобное), затем пострадал от большого пожара в 1666, полностью восстановлен, вместе и с девятифутовыми фигурами Гога и Магога, сторожившими вход в Музыкальную Галерею, — а в 1940 немецкой бомбёжкой снова разрушена крыша большого зала, лопались стально-стеклянные стёкла, — и снова восстановлен, но уже без загадочных Гога и Магога, которые очень бы уместны были к моей сегодняшней речи. Но и без них — хорошо подошёл к ней этот стрельчатый средневековый зал, молитва в начале (капеллан королевы), молитва в конце. Я совсем не жестикулировал и сдерживал форсировку голосом, — однако всё равно писали потом корреспонденты, что перевод Келли звучал намного примирительней.

На другой день напечатал «Таймс» — но со значительными, произвольными сокращениями, от которых меня всегда коробит: что за газетная развязность? выношенные, долго строенные авторские мысли — посечь, посечь самоуверенным пером за пятнадцать минут. (Полностью речь была передана по русскоязычным станциям, не знаю, многие ли на родине слышали через заглушку.)

А ещё на следующий день, 12 мая, в «Таймсе» появилась передовица: «Самое главное» (Ultimate Things). Кто-то неизвестный, идеалист (потом оказалось: сам главный редактор «Таймса» Чарлз Дуглас-Хьюм, вскоре за тем умерший безвременно), вдохновясь, что и в наши дни можно так не стыдясь говорить о вере, написал, — в стране, первой родившей устойчивый материализм! — что вера, а не разум лежит в основе свободы; вера, а не разум даёт нам вообще независимую точку опоры, с которой мы можем оценить условия нашей жизни; а политики в оценке положения общества полностью захвачены материальными и рациональными критериями. — И вослед поднялась, из номера в номер, дискуссия, как это бывает у англичан, — с самыми залихватски-резкими крайними мнениями, и в возмущении, и в одобрениях. И — что Запад всегда понимал свою веру как рациональную, на Западе религия вышла из рациональных корней (увы, коли так); и первая христианская церковь была-де коммунистической, а иррационально то государство, которое основано на терроре и лжи; и именно, мол, от религий, а не атеизма шли в истории все раздоры и преследования; «мы протестуем против темптонской речи Солженицына и отрицаем, что зло в каком-либо веке происходит от утраты веры в Бога, а безбожие ведёт к гонениям; в течение веков всевозможные страдания и преследования принимались и оправдывались религией вообще и христианством в частности». — И, напротив, — что оппоненты Солженицына своими письмами и «гуманистическими псалмами» как раз и доказывают тезис, что «люди забыли Бога», — и тем более настоятельно надо во влиятельных органах печати говорить о религиозных истинах; что божественная праведность вытекает из индивидуальной веры, а не из социального единодушия большинства; и что экономические решения — ничто, а человеческий разум сам по себе может причинить самоуничтожение, которого мы все боимся; и даже что женщины не должны, в погоне семьи за вторым телевизором и экзотическими вакациями, поступать на работу, а ребёнка запирать с телевизором на ключ.

Кажется, в этот же день была и встреча с Маргарет Тэтчер. Аля была у неё на приёме ещё несколько лет назад, когда ездила хлопотать об арестованном Гинзбурге. Тэтчер тогда тепло её приняла, в чём-то помогла, и говорила, что читала мои книги, любит «Круг». — Теперь мы поехали на Даунинг-стрит даже не вдвоём, а втроём: с нашим вермонтским другом И. А. Иловойской, специально для ответственного перевода прилетевшей из Парижа.

Заранее пресса запрашивала офис Тэтчер, согласен ли я на совместное фотографирование. Я-то — отчего же, но она — не побоялась испортить реноме через день после объявления избирательной кампании. Фотографы, вероятно, постоянно дежурящие, были у входа на Даунинг-стрит, 10, затем и в одной из комнат.

Прочь от формальности, я поцеловал руку Тэтчер — редко бывает женская рука достойней, а я испытывал к этой государственной женщине и восхищение, и симпатию. К сожалению, Тэтчер была изрядно простужена, глухой сорванный голос в напряжённом горле, но держалась собранно, как, очевидно, и всегда. И ход и власть мысли её были мужские.

Мы просидели ровно час, через низкий столик, на диванах, — час самого плотного разговора, при точном и незатруднённом переводе И. А. Мест пустой вежливости не было, и никакого отвлечения, — только сегодняшняя мировая и английская политика, — вот так внесло меня всем ходом жизни.

Кажется, началось с её вопроса: что я могу сказать об Андропове? (Как хотелось западным лидерам увидеть в Кремле вождя с умом и сердцем!) Я сказал, как это уже стало ясно мне за полгода, что — предсказуемая личность, без каких-либо высоких или оригинальных идей, всего лишь убогое повторение сталинского закручивания. (Но — государственный церемониал? — это не мешало ей через год, к смерти Андропова, дать телеграмму в Москву: разделяем *«скорбь всего вашего народа»*. А с приходом следующего вождя — затевать дружбу с Востоком визитом в Венгрию.)

Состояние дел я видел для Запада — мрачным (Рейган — ещё не успел его переломить), я так и высказывал: что Англию ждут грозные испытания. Тэтчер возражала, что не так уж плохо, — вот, выравниют ракеты, создадут баланс. (С помощью Рейгана, — и права оказалась.)

Да в такую редкую встречу и с таким центровым лидером, как она, — мне хотелось подняться выше политики, до взгляда зрело нравственного. Сколько уж я призывов и делал — к самоограничению, к отказу от излишних приобретений и побед. Все уроки мировой истории — неужели для *всех* мировых политиков проходят мимо и зря?

А тут ещё был недавний и разительнейший случай: война за Фолклендские острова. Прямо на другой стороне земного шара! Остаток заморской империи, и такая малозначная земля. И гнать флот из-за неё, проливать обуюдную кровь? Как красиво и благородно было бы — от этих островов отказаться, отрешиться! Но так сильно Тэтчер была простужена, такой сорванный голос — не мог я затевать такой спор, не мог этого выговорить. Ведь фолклендская война — была её личная гордость, и успех её партии, — да вот перед новыми выборами...

Нет, наверно надо покинуть всякие надежды призывать когда-либо, кого-либо из политиков к нравственным решениям.

Не успел я потом записать разговора. Запомнилось, ещё посоветовал ей: да освобождайтесь вы от этого неуклюжего Британского Содружества Наций, оно ничуть не укрепляет Великобританию, только искажает и политическую линию, и международное лицо, и национальный состав метрополии. Тэтчер грустно усмехнулась, отмахнулась: «А-а, да оно уже почти не существует». (И правда же — идёт к тому.)

Унёс я горькое сочувствие к ней.

Во всех мельканиях по Лондону, в эти дни солнечному, город казался очень привлекателен. Но побывать почти нигде и не пришлось: каждый промежуток мы с Алей отдавали какой-то надвинувшейся встрече.

На гилдхоллскую церемонию приезжали из Парижа Клод Дюран с Никитой Струве. Вместе с ними встречались мы с английскими издателями — из Коллинза, Бодли Хэда. Обсуждали внутри себя — дела французские и скучно-эмигрантские русские. «Имкинское» собрание сочинений в крупном формате выходило тиражом пятьсот штук, ещё пара тысяч «малышек», утекающих в Россию. (Почитаешь письма Бунина — он и такого не дождался, бедствовал.)

Из Оксфорда приезжал встретиться наш уникальный Харри Виллетс, милый и печальный. Он потерял жену в минувшем году. («И со временем — только тяжелей».) И болеет сам. За годы Виллетс так проникся русской культурой — мы ощущаем его будто соотечественником. И ко всем текстам моим он относится внимательно, бережно, любовно. Оттого и работает медленно.

Очень близкий человек, но раскиданы мы расстояниями. А писем — он органически не пишет, или уж с большим усилием.

Встретился я и с Мартином Дьюхерстом, выясняя возможность и его привлечь к переводам, хотя бы публицистики. Однако, остро активный в общественной жизни, он более склонен к публицистике собственной; замысел не дал плодов.

Надо было встретиться и с загадочными новыми переводчицами моих пьес. Из них пришла только одна, оказалась русская, внучка Родзянки. А другая — англичанка, не знает русского, лишь критикует уже сделанный перевод. Увы, не перспектива. Так и остаюсь в Англии с одним Виллетсом.

И — пора бы нам улетать в Америку. Но ещё в Вермонте я получил письмо от букингемского чиновника, что принц Чарльз приглашает меня на ланч 17 мая, а до этого он будет в путешествии, закован в график. Встреча с ним могла быть интересна, принц Чарльз не раз публично высказывался с поддержкой моих взглядов. Но — ждать ещё четыре дня, ненаполненных?

А ещё осенью 1982 Аля, ездивши в Нью-Йорк защищать Зою Крахмальникову (и успешно: ей удалось убедить американскую делегацию в ООН поднять этот вопрос, и это, быть может, подействовало на Советы), — встретила там с группой создателей фильма (производства «Англо-Нордик») по моей нобелевской лекции: они ездят по разным странам, пытаются демонстрировать фильм и пропагандировать его идеи. Это — группа энтузиастов, собравшая деньги от жертвователей, все они работают бесплатно, из одного убеждения. С дерзкой задачей фильма справились неплохо, передали сумасшедшую атмосферу нашей современности. Среди той группы познакомилась Аля с Патриком Кохуном — высоким, худым, породистым полушотландцем, по отцу из старинного клана, и с такой же старинной фамилией, еле напишешь (Colquhoun). Отец Патрика был — из славнейших преподавателей Итона, Патрик и вырос там, под итонской сенью, кончил его, затем Оксфорд, — и все лучшие карьеры английского преуспевания были ему открыты. Но ото всего отказавшись, он самоотверженно ушёл в безнаградную, бескорыстную жизнь, где и женился на такой же Френсис, очень огорчив свою аристократку-мать.

Теперь в Лондоне Патрик одновременно: уговаривал нас задержаться до возвращения принца Чарльза из путешествия, и предлагал частную квартиру — тут же, в центре Лондона, — и, если мы хотим, — несколько дней анонимного путешествия по Шотландии. Шотландия решила дело.

И дом, куда мы тотчас передвинулись из гостиницы, и устройство поездки в Шотландию принадлежали Малколму Пирсону — шотландцу же, финансисту, с которым Патрик когда-то познакомился через то, что тот пожертвовал деньги на фильм. Малколм оказался с весьма живыми, широкими интересами, и чрезвычайно доброжелательный, для нас создалась сразу дружеская обстановка. Оказался и он в родстве с Итоном (вторым браком женат на дочери итонского пророва, то есть ректора). Так решилась и встреча с принцем Чарльзом, о чём мы дали знать в окруженье его. И — затягивало меня на неожиданное выступление в Итоне.

Чтоб не терять дневного времени на путь, мы в первый же вечер сели на ночной поезд в Шотландию. (Приятно — поезд, и ещё даже более удобные купейные устройства, чем мы видели где в Европе или чем канадские «руметы».) Хорошо было отдыхать в этой покачке после плотных лондонских дней.)

Утром мы проснулись уже после Глазго. Свообразный и сумрачный пейзаж, очень незаселённый. На скудных нагорьях, безлесных холмах в пятнах рыжего вереска — медленный разброд равнодушных овец, никем не пасомых. Редкие тощие лески. Сотни пенистых белых потоков. Мы сошли на станции Раннох, в самом центре Шотландии, и поехали автомобилем в имение Пирсона — при котором оказалась оленья ферма: постоянно живущие его служащие там занимаются разведением оленей.

Повидали окрестности и более культурные, как маленький городок Питлохри и картинный шотландский замок Блеер Кастл, со всеми аксессуарами, — музейными внутри, а снаружи — фазанами, спокойно перебраживающими дорогу, и, в определённые часы, вольтничком, играющим у входа в замок. Но больше всего я был поражён нашим, одних мужчин, путешествием по бездорожью около озера Раннох: мы довели туда на прицепе многоколёсный приземистый вездеход, и на нём полезли в гору по тундро-валунному бездорожью, с грохотом переползая канавы, проваливаясь одним боком в ямы, — и на фронте я не испытывал подобного, — и как-то не перевернулись, взлезли на вершину, очень холодный ветер сдувал туман. Оттуда спускались к озеру пешком по моховым кочкам, перепрыгивая канавы и ямы, а сопровождавший нас пойнтер с длинными свисающими ушами то и дело дрожал в стойке, приподняв лапу, на угадываемую где-то тут добычу, — и по разрешению хозяина кидался искать. Перебегали, перелетали вокруг бело-чёрный красноклювый кулик-сорока и свистящий серый большой кроншнеп.

Скучно-суровый мир, многие дни под тучевым небом, но таким и формуется — и рисуется нам — шотландский характер. (А и редко встретишь такое теплосердечие, как у нашего хозяина.)

После холодных прогулок — традиционное сидение у камина, с горячими напитками.

За два дня в имени Малколма я обдумал и примерно набросал свою предстоящую итоговую речь.

На третий день мы поехали автомобилем в Эдинбург через Аберфельди и Перт. В более дикой части близ дорог иногда видишь одинокие стоячие камни с утерянным древним смыслом. Потом — всё культурнее, возделанная местность, с богатыми посевами. Я особенно был вознаграждён видом рокового Бирнамского леса: действительно, лесная полоса так изогнута по холмному хребту, как изготовленный к движению войсковой строй.

Через эдинбургский глубокий морской залив Форт — мост того же типа, что теперь стоит на Босфоре. Целый день мы бродили по широкоуличному позднему Эдинбургу (верхушки и фронтоны жилых домов вот, кажется, откуда и взяты для многих петербургских улиц), а в центре города — высокая обширная скала, на которой поразительно картинный сохранился единовентный, единостильный замок, башня в виде короны, а вокруг него лепится средневековый город. В мемориальной торжественной постройке при замке — списки всех битв, где воевали шотландцы, также и в составе Британии (сегодня в Шотландии как будто утихло раздражение против англичан), и списки всех погибших. Уже как шаг в расширение древнего города — королевский Холирудский дворец, очень шотландский. А Холирудское аббатство сожжено безжалостным Кромвелем (в его развалинах меня узнал и подошёл к нам печальный католик-поляк; узнававшие шотландцы — не подходили, характер). У подножья замковой скалы на осушенном озере — парк Принцесс-гарден, и в нём певуче заливаются чёрные дрозды. На одном из холмов — кладбище и могила Давида Юма: кусок древней травянистой земли, огороженный каменной ротондой с решётками. На Принцесс-стрит — памятный башенный монумент шотландцу Вальтеру Скотту. — И вдруг, с нарастающим топотом, орущая бессмысленная толпа воскресных футбольных болельщиков бежит мимо нас под дождём, не помня ничего из былого. — Тут же внизу, под мостом, и вокзал, откуда мы уезжаем в Лондон, так же поездом в ночь.

Расстояние ближе, и поезд скорый, он приходит в Лондон в предутреннюю рань, — но вот английское удобство: пассажиров не изгоняют из поезда, можно досыпать, а уйти лишь в 7 часов утра.

---

Отдохнувши в поездке, снова был готов к прежней плотности, — и в ней прошли следующие два лондонских дня. Радуюсь, что я эту нагрузку выдержи-ваю, ещё очень мне может понадобиться выносливость в будущей России.

В первое же утро к нам, в дом к Пирсону, приехал сотрудник «Таймса» Бернард Левин, не похожий на обычный тип корреспондентов, пронизательно умный, взвешенный (а оказывается, ещё и глубокий музыкальный критик). С ним — отличная переводчица, русская эмигрантка Ирина Арсеньевна Кириллова, с которой мы начали работать ещё семь лет назад, в чарлтоновском интервью для Би-би-си. Предварительно мне был известен круг вопросов Левина, но в зависимости от моих ответов он тут же гибко менял их связь и постановку, а я старался ответить без повторов с тремя уже бывшими интервью (освободиться от повторов полностью невозможно, ибо отчаянно повторяются вопросы интервьюеров). Работа была напряжённая для обоих, но, кажется, удалась\*.

С Левиным у нас было дружелюбие ещё от встречи в 1976 (он последовательный враг коммунизма), сейчас он пришёл к нам и со своей важной поддержкой Ходоровичу в «Таймсе» (напечатано было, пока мы в Шотландии, мы и не знали).

Затем мы с Алей поехали ещё в какой-то частный (и роскошный, старинно обставленный) английский дом — и там происходило телевизионное интервью с достойнейшим Малколмом Магэриджем, так и светящимся седым стариком\*\*. В этом году ему исполняется 80 лет, он делал попытки устроить со мной интервью раньше, я отказывался, и он грустно написал мне: «Значит, в этом мире мы уже не увидимся». А вот — увиделись. У него была социалистическая юность, и с этими воззрениями он попал в Москву 30-х годов корреспондентом. Но собственная духовная ценность дала ему разглядеть обман и начать отворачиваться от советского социализма, когда этого ещё никто не делал. Он тогда напечатал книгу о московских впечатлениях — но Запад не хотел понять её и признать: в ту пору, по моде, полагалось думать иначе. (Недавно Магэридж решил её переиздать, просил от меня предисловие, — но это самое обременительное из того, что просят у меня: опасаясь высказываний по поводам, не во мне возникшим, без потребности для меня; и не считаю возможным писать предисловие, не прочтя книги детально и не обдумав её, — а если это ещё и по-английски, откуда времени набраться? Я отказался, и Магэридж пошутил в ответ, что Сэмюэл Джонсон говорил: «Да легче мне похвалить книгу, чем читать её».) За последние десятилетия Магэридж стал заметным христианским и нравственным мыслителем Англии.

А утром 17-го Патрик повёз нас в Итон. Текст моей короткой речи был ясен мне в главных чертах, скажу ли я её как набросал или иначе, но конечно не буду пользоваться шпаргалкой. Старшие воспитанники Итона — это не дети, предупреждали меня, им по 15 — 17 лет, а по развитию они старше того. А мне как раз такое и доступней всего, это как раз тот возраст, какому я всегда преподавал, мне очень легко взять с ними тон. После первых приветствий с провостом лордом Чертерисом и хэдмастером Андерсоном (как бы президент и премьер-министр Итона, сравнили они сами), нас сразу повели в капеллу, тоже стрельчатую, 1440 года, ровесницу Гилдхолла, — где и должна быть речь. Центральный проход от входа до кафедры свободен — и мы шли по старинному плитчатому полу между двух рядов скамей, около которых воспитанники, старшеклассники, в долгополых чёрных сюртуках и нагрудной белизне (когда-то объявленный траур по Генриху VI, а потом никто не отменил, и осталось на века), стояли, с полутысячу, в несколько рядов, лицами к проходу. Сколько успевал, я на медленном ходу осматривал лица, — все были прилично ухожены и многие холены, однако не скажу, чтобы много заметил напряжённых интеллектов, были и средненькие. Но так или иначе — рассадник будущей английской элиты, и речь, может быть, не будет бесполезна. Переводила снова И. А. Кириллова, стоя рядом. В меру были расставлены где-то по залу громкоговорители, я их не слышал и невольно говорил так громко, что хвата-

\* «Публицистика», т. 3, стр. 120 — 136.

\*\* Там же, т. 3, стр. 137 — 144.

ло голоса на всю высоту и длину капеллы, в другом конце которой сидели гости. Затем ученики подходили к микрофону посредине зала и задавали вопросы, слышные публике, а нам с Кирилловой почти нет, но всё же как-то она расслышывала. Один мальчик, с русского курса, задавал и по-русски. В ответах я опять невольно повторялся с цепью своих интервью, не избежать, — в один приезд и в одной стране выступления — всегда нечто цельное. Затем были долгие, громкие аплодисменты, как пишут — не принятые в этой капелле, опять я шёл между двумя вереницами мальчиков и рассматривал их лица со смешанным чувством. Во дворе появились и фотографии прессы (прессу, по традиции, не пускают внутрь итонских помещений), — этим снимкам с воспитанниками придали какое-то повышенное значение, их воспроизводили потом газеты, и не только английские, может быть, и с осуждением меня (якшаюсь с «аристократами»). Само по себе выступление в Итоне\* было сильно замечено (хотя текст оставался не оглашён).

Тут же вскоре повёз нас Патрик на ланч в Кенсингтонский дворец. (В 1689 он был построен, ещё как загородный, Вильямом III (Вильгельмом Оранским), надевшимся облегчить свою астму на сельском воздухе; с тех пор тут умерло несколько королей и родилась Виктория, а сам дворец уже давно в городской черте, — и вот теперь здесь наследник со своей юной женой. С нами опять — И. А. Иловайская, ещё раз специально приехала из Парижа, жертвенно, переводить ещё этот неразглашаемый разговор. Процедура, подходы и число служителей намного скромней, чем в Букингемском. Нас ввели в пустую гостиную. Провожажущий ушёл — но тотчас из узкой малой служебной двери, едва помещаясь в ней по узости, прошли ещё более узкие, оба высокого роста, принц Чарльз и принцесса Диана — скромные и даже застенчивые, особенно Диана. Сели мы вокруг низкого гостиного столика впятером — и после нескольких фраз разговор так повернулся, что Диана вышла, получила тут же за дверью, приготовленного, своего первенца, годовалого Вильяма, продолжающего английскую королевскую линию, принесла нам его представлять, и он вёл себя отлично, приветливо, не капризничал, Диана сияла (она картинно хороша), и Чарльз тоже — умеренной, по-мужски. И как-то всё вместе, — этот здоровый ребёнок, и одиночество родителей в бездействующем полупустом дворце, и их затравленность пошлой прессой, и известный пристальный интерес Чарльза к глубине вопросов — более, чем этого требует нынешний урезанный английский трон, и само мрачно-туманное будущее этого трона, — создали у меня (и у Али, сверили потом) щемливое сочувствие к этим молодым.

Появился уже знакомый нам благородный старик Лоуренс ван дер Пост, мы перешли в соседнюю столовую и шестером просидели за ланчем около часа, — и тоже так плотен был разговор этот час, как и с Тэтчер, я не мог бы вспомнить ничего, что промелькнуло на столе, хотя я ел же и пил. Наш разговор с Чарльзом переводила И. А., на другой полудне Аля живо (она размяла английский язык в эту поездку) разговаривала с остальными, затем и они прислушались к нашему.

Собственно, этот разговор должен был повторить почти то же, что и с Тэтчер, с добавкой только введения-оговорки, что я понимаю: у английского короля по конституции почти нет государственных прав, зато есть высокий моральный авторитет, и оттого принц может в своей стране возглавить пусть не политическое движение, но сильное духовное. (И он согласился.) А затем, как и с Тэтчер: не воевать и не настраиваться против *русских* как таковых (во всех английских газетах вижу в эти дни — невыносимая «Россия» везде там, где подразумевается СССР). И надо громко, решительно осудить выдачу русских Сталину в 1945 году. И в этот раз — гораздо подробнее о Би-би-си как оружию, которое может оказаться сильнее всего английского морского флота.

\* «Публицистика», т. 3, стр. 145 — 155.

Принц Чарльз слушал вбирчиво, иногда добавлял вопросы. О Фолклендской войне — и тут я сказать не решился.

Не монархист я укоренённый, чтобы безраздельно сочувствовать каждому трону, а к английскому есть у меня и тяжёлый укор — как Георг VI из испуга перед общественным мнением отказал в простом приюте своему сверженному двоюродному брату Николаю II. Всё старое — не ушло из памяти, а владело щемящее сочувствие к этой милой молодой паре в безвоздушном предгрози. (Чарльз захотел получить полный текст моей гилдхоллской речи, Патрик Кохун дослал её.)

(Послал я из Вермонта принцу Чарльзу благодарственное письмо, но с ноткой, так и звучавшей с тех пор в нас: «Мы с женой вынесли очень сердечное ощущение от встречи с Вами и душевно тронуты Вашей судьбой. Хочу надеяться, что самые мрачные из моих предположений в беседе с Вами не сбудутся».)

Вдруг получил от принца Филиппа: его книгу «Вопрос равновесия», доклад на инженерном симпозиуме по современной технологии и письмо: он глубоко впечатлён и принимает к сердцу то, что я сказал в Букингемском дворце и в Гилдхолле. «Вы ещё имеете сколько-то союзников на Западе».

Вот уж это выходило за рамки принятой им обязанности вручать премии! Мы были тронуты. Действительно, протянулась связь между их обречённым уединением — и нашим. Я ответил принцу Филиппу: «Я с глубоким уважением отношусь к трудной задаче, которую выполняет Ваша семья: сохранять и высоко нести достойные идеи и качества, необходимые Вашему народу, как и всему человечеству, — но которые оно в ослеплении всё более теряет».)

От принца Чарльза сразу дальше Патрик повёз нас через весь Лондон — к Георгию Михайловичу Каткову (внучатому племяннику известного публициста М. Н. Каткова), живущему у замужней дочери, не говорящей по-русски. Ещё одна дорогая судьба, не послужившая России в полную силу, увядающая в эмиграции. Обаятельный, душевный человек, такой тёплый голос. Много болезней, и правая рука потеряла силу писать, а по видимости — он держится, вот сидит на стуле, и разум совершенно ясный. Вот дарит мне свою книгу по-английски о корниловских днях, успел написать и её. И так точны его слова о Семнадцатом годе. (Мы с ним почти сплошь совпадаем в оценках, и о Керенском увильчатом: не способный ясно ответить на вопросы Каткова о корниловских днях, тем более уклонялся оставить чёткую запись тех событий.) А вот — его начатые мемуары, и тоже по-английски, и нет сил докончить. Уговариваемся, что найдём ему русскую машинистку, и он будет диктовать ей русский вариант этих мемуаров. Вариант, не перевод! Может быть — успеет дать и русскую версию корниловской книги? А его «Февральскую революцию» мы думаем в этом году издать в ИНРИ в обратном переводе с английского, если он не задержит редактурой. (Как это, наверно, обидно: видеть свою книгу, переведенную на родной язык кем-то другим.)\*

---

Вот и кончилась английская поездка — доисчерпным выполнением всей намеченной программы, за 11 дней. Утром 18-го неизменный Патрик везёт нас на аэродром, пресса щёлкает перед «Конкордом» (и нас не преминут упрекнуть в роскошном путешествии, как будто это мы так затеяли, а не Фонд Темплтона). Быстр, конечно, «Конкорд» — а тесен, душен, да и переход через первую звуковую скорость иногда неприятен. Прилетаем в Нью-Йорк

---

\* «Февральскую революцию» мы издали в серии ИНРИ в «Имке» в 1984, «Дело Корнилова» — в 1987; «Февральскую революцию» затем переиздали уже на родине: М., «Русский путь», 1997. (Примеч. 1999.)

утром же, и даже «раньше», чем вылетели из Лондона, и ещё несколько часов автомобильной езды до Кавендиша, долгий-долгий день, и сброс лондонского напряжения. Ах, все эти поездки — только отвлечение. Скорей вернуться к своему.

Да в миг не вернёшься, надо искать новую инерцию, не сразу и выбьешься из ритма этих мельканий.

А здесь в Америке из моей гилдхоллской речи всего-то вывела вдумчивая пресса, что я «резко напал» на Билла Грэма и на Всемирный Совет Церквей, — вот это одно они и раскусили. Правда, в «Таймсе» цитировали глубже. А позже в элитарном «Нью-Йоркере» появился неожиданно благожелательный отклик. Из моего же обстоятельного взвешенного ответа на пресс-конференции об антиядерном движении американская пресса только и вырвала, что ей доступней: что движение подкуплено Москвой, а расселовское «лучше быть красным, чем мёртвым» — это же и будут раки в кипятке. О вине же Запада в ядерном оружии, о естественности всяких противоядерных протестов — об этом, конечно, ни слова. Урок, который раз: никогда не давать пресс-конференций.

В Англии Бернард Левин напечатал наше интервью на полную страницу «Таймса». Но, видимо, кто-то в «Таймсе» спохватился, что слишком много в мою пользу они напечатали, — и изобразили пошлую карикатуру моей мнимой выпивки с Евтушенко да с каким-то английским шпионом, умершим в Москве. Смеялась и «Санди экспресс», что «русские изгнали» меня в 1974 не потому, что меня боялись, а — не могли больше выносить звука моего голоса. А «Дейли телеграф» печатала форменный крик какого-то ветерана журнализма Джека Марона: «Заткнись, старик, Старая Стенящая Спутанная Борода, отправляйся в свой концлагерь в чаще Америки, занимайся своим гуляшом и пиши так называемые книги!»

Вот столько вывели все они из темплтоновской речи о том, как мы теряем, потеряли вышнюю веру.

Разрушительная массовость нынешней культуры, от которой художнику неизбежно страдать из первых. Но ему же — иметь и стойкость выстоять.

Совпадение желаний: прессу раздражает каждое моё выступление, они хотят, чтобы я молчал, — но ведь этого же самого хочу и я. Ладно, кончили! Теперь — никому, никуда, ничего — ни слова!

## Глава 10

### ЗАМЫКАЯСЬ

Никому — никуда — ничего, ни слова...

Возвращались с Алей из Англии — твёрдо сговаривались: ну наконец теперь-то я замкнулся для работы. До сих пор не удавалось — ну хоть теперь! Теперь я — никому! ни на что, ни по какому поводу! — ни звука! Кто бы ни обратился, и самый наиважный. «Март» был — местами в 3-й редакции, местами ещё во 2-й, а нужна-то — сплошь 4-я, и потом редактура при наборе. А мысли забегают: что дальше?? С «Апреля» начинается Второе Действие — «Народоправство», на весь Семнадцатый год до осени. И в этих кратких месяцах такая разительная картина всего мирового Двадцатого века! Как — мне это вытягивать? Не отрываться — никуда, ни на что!

А попробуй, замолчи в «открытом обществе»... Как в насмешку — вот такая муха. Только-только воротятся — тут же начинаю получать благодарственные письма от читателей из штата Мэйн: как я хорошо, сочувственно выразился об американской демократии! Что ещё такое?? А вот и вырезки: якобы я продиктовал какой-то Аните Берлинд письмо к редактору газеты Йоркского графства, и газета с гордостью печатает: что будто я недавно проезжал по их местам и поражён был числом книжных магазинов (полных дешёвкой и де-

тективами) — и это указало мне на высокий уровень местного образования. И, мол, вспомнил я тогда драматическую мою юность в России (где только и читали серьёзные книги): ах, если бы там каждый мог держать в руках книгу! Ах, жить бы и мне в их Мэйне: ведь с культивацией юных мозгов приходит и свобода. «Вот как встречаем мы выбор демократии». (Это — и в заголовке.) Какая-то юная идиотка сочинила, чтобы прославиться, и в расчёте, что до меня их местная газета не дойдёт; и даже ведь она меня, по её понятиям, убагаторила, тесней слила с идеальным демократическим миром, — да никак иначе я и думать же не могу, сравнивая Америку и Россию? А шляпе-редактору тоже маслом по сердцу — и печатает без проверки...

И что же — пренебречь? Пишу письмо в редакцию: да как же вы могли не проверить? когда я проезжал? когда и где я «продиктовал»? да никакой вашей корреспондентки я не знаю, и в глаза не видел, прошу напечатать опровержение! (Напечатал редактор с опозданием, на незаметном месте и скудно по смыслу, — ещё не поймёшь и опровергают ли в сам деле? *Свободная печать* ото всего свободна.)

А вот — покрупней. Спыхватилась «Нью-Йорк таймс», что не обыграла моего неприяда на президентский завтрак, ведь можно было насовать Рейгану шпилек! Сперва (конец 1982) Гаррисон Солсбери передал мне приглашение от газеты — высказаться. Я промолчал. Потом и сама редакторша знаменитой их, престижной «страницы мнений» (*Op-Ed*) Шарлотта Кёртис писала, предлагала. Я ответил, что инцидент с завтраком — дело уже минувшее. (Нет, ещё и в 1986 «Нью-Йорк таймс» печатала подстрекательную статью: да что ж это Рейган всё не принимает Солженицына? — Им скандальчик с Президентом потребен. А мне — никакое «переигрывание» встречи совсем было ни к чему, не нужно.)

Или вот такой типичный для Штатов эпизод. В конце 1982 пишет неизвестный мне Генри Дельфинер (и никак себя не представляя, наверно важная фигура), что некий Бостонский Совет по Международным Делах (странно, никогда я не слышал; и кто и почему может решать международные дела в Бостоне? — оказывается, «группа ведущих американцев») хотела бы установить коммуникацию с моими взглядами, в ближайшие рождественские каникулы. Прикладывается список лиц, предполагаемых ко встрече. И так они чувствуют, что когда, мол, я увижу этот список — для меня будет проще принять всю идею. А для дальнейших пояснений Дельфинер предлагает приехать ко мне в Кавендиш в одно из ближайших воскресений. В списке — 27 человек. Пятеро от Госдепартамента — два заместителя государственного секретаря: Иглбергер, по европейским делам, и Киссинджеровский подручный Зонненфельд; ничего не понявший в Москве посол Тун; ещё какой-то Перль, не знаю; правда, и трезвая Джейн Кирпатрик. Затем два сенатора. И кто-то от финансового мира, что я в том понимаю? И Лэйн Кёркланд, занявший место вождя профсоюзов после Мини; только на антикоммунизме мы и сходились с ними. Затем семёрка профессоров, среди них известные ненавистники России. Ещё пятеро от прессы, правда среди них и правые — Вильям Бакли и Норман Подгорец. И один генерал — Гудпастер. И ещё члены их Совета. И в завершение — «другие», то есть не занимающие сегодня ясных постов: сам Киссинджер и мой издатель Роджер Штраус. Ах, вот только ещё Киссинджера мне не хватало для конфиденциальной встречи! Не добился он раньше, так теперь.

Весьма странный Совет и весьма странное приглашение. Это меня в какое-то серьёзное дело затягивают. Почему такие разные люди, из разных мест, разных занятий — и так келейно? Нет, не тянет меня никак идти на этот Совет.

Отчётливо отказал Дельфинеру, да ещё спеша письмом, чтобы не успел он в ближайшее воскресенье, как предложил, ко мне приехать: что конференции для обсуждения — не моя форма; что в тех случаях, когда у меня назревает необходимость высказаться по текущим проблемам, я, как писатель, предпочитаю написать текст своим пером. Так что наша встреча сейчас не имела бы смысла.

Напряжённое стремление моё было: *совсем* бы вот замолчать сейчас! *совсем* замолчать! и — сразу, хватит!

Но столько лет протопав по вязкой дороге публичности — не сразу оттуда ноги вывяжишь. Вот, намерен Трейн напечатать в семимиллионном «Ридерс дайджесте» отчёт о моих высказываниях в Лондоне. — Вот намерено «Нэйшнл ревью» напечатать полностью мою темпלטоновскую речь — да хоть одна бы публикация была, ведь на английском пропало. (Только во Франции мы всегда успеваем.) — Вдруг, вот, телевизионная компания Эн-би-си предложила взять часовое интервью к десятилетию моей высылки из СССР (тот же продюсер Мэннинг, который, тогда от Си-би-эс, устраивал в Цюрихе огромное интервью в первые месяцы моей высылки). Это показалось стоящим, надо дать? Заколебался. И не знаю, чем бы кончилось, если б они не стали предлагать такую непомерную запасливость: с сентября 1983 у них начинается вперёд большая 14-месячная (!) «работа» вокруг будущей президентской избирательной кампании (1984), так им удобно приехать ко мне в августе 1983 — чтобы сговариваться об интервью, которое пойдёт в эфир в феврале 1984. — Да что ж за полгода вперёд знаешь, к чему сгодится разговор? Я отклонил. Они обиделись, на том переговоры и кончились.

Как раз тут, в июле 1983, опубликовался впервые по-русски полный «Август», нашего с Алей набора. И что ж, кому его читать? Третьей эмиграции — его почти не переварить, слабые поверхностные рецензии, не в рост с вертикалью Узла, да и тех почти нет. Все мои уже 12 томов Собрания прошли как впустую. Томятся они по России, да нет им в СССР пути.

Но очень успешно, быстро справились с переводом «Августа» французы, в декабре 1983 уже выходит, и Клод предложил мне дать интервью французскому телевидению, популярнейшему Бернару Пиво (еженедельная литературная передача), вся команда приедет ко мне в Вермонт. Что делать? Но это ж не политика, это свои же книги, разговор с читателем. Думал кончить Тайванем — нет; думал кончить Англией — нет; будем принимать Пиво.

В два золотистых осенних дня, последний октябрьский — первый ноябрьский, приехала шумная французская компания в 16 человек, впервые впускаю объективы к себе в «мастерскую» — под стрельчатой крышей, окна с трёх сторон, и ещё в крутом потолке.

Это обширное интервью было — собственно о «Красном Колесе», от замысла юности и через проделанные полвека; о сравнительных задачах историка и романиста; о движении революционного террора, столь разившегося в нынешнем веке уже по всему миру; о всей ниспадающей линии от Девятнадцатого века на Двадцатый; об общих законах всяких революций. (Это интервью имело во Франции большой успех, его повторяли, потом показывали и в других странах Европы.)

Но, конечно, не обошлось и без современности. Только что вышли во Франции мои «Плюралисты», значит — и о них. А там — Пиво возьми и задай: будет ли коммунистический режим побеждён изнутри? да какая судьба ждёт Польшу? да вот только что освободили от коммунистов остров Гренаду? — и я вспыхнул, загорячился отвечать. И уже потом, оглядываясь: вот так и замолкай, опять прорвало.

Да — как нам замолкать, когда в Союзе, арестовав весной Сергея Ходоровича, продолжали этой осенью громить наш Фонд? В том самом октябре 1983 получили мы известие, что на следствии Ходоровича в тюремной камере избивают, его заместника таскают на допросы и вот-вот посадят, — Аля только что, перед самым приездом группы Пиво, ездила в Вашингтон (взяв и Ермолая на помощь, приучать его к нашим заботам), встречалась там с сенаторами, конгрессменами, нашла их поддержке, провела многолюдную пресс-конференцию, — вот и замолчи! Как нам замолкать??

А всё равно: надо уйти в свою работу. Уйти в неё, иначе никогда её не взять. Да после каждого общественного заявления я возвращаюсь к письменному столу с мучительной надеждой, что теперь-то, может быть, не скоро вы-

ступать? Не случилось бы такого, где б я обязан был подать голос. И не втянули бы ни в какое словопрение! За всё драться, так и кулаков не распускать.

Да Господи, да только летом 1983 дошли руки распечатать ящики, привезенные из Калифорнии в 1976, — и тут несмотренные книги, нераспечатанные письма того года, приглашения, сообщения... — что-то упущено безвозвратно. (А есть и из Цюриха привезенные тогда же — до сих пор не раскрыты.) Семь лет в Пяти Ручьях — некогда книги своей библиотеки пересмотреть систематически и расставить правильно! — всё корпим над работой.

Думал: хоть дальневосточной поездки прах отряс, можно забыть? Нет! Зять Е. Боннэр Янкелевич шлёт в «Вестник РХД» письмо, негодуя, что на круглом столе в «Йомиури» я *не так* представил взгляды Сахарова. Что поделать? Надо (та же осень 1983) отвечать, — опять, опять вытаскивать, перечитывать сахаровские статьи, опять, опять показывать, что отобразил я правильно. Да ведь ещё ж и хрупкость какая: Сахаров — в ссылке, его и коснуться нельзя. Всё в моём ответе — изневольные повторы, лишь об экономике шажок дальше: упаси Бог, не надо нам управления нашей экономикой извне\*.

Как раз летом 1983 Сахаров выступил («Форин эфферс») с письмом к стенфордскому физику Сиднею Дреллу, на редкость верно (и удивительно совпала его точка зрения с тем, что я говорил о ядерном вооружении в Лондоне только что, весной 83-го): что роковой ошибкой Запада было положиться на «ядерный зонтик», а выход — в обычных вооружениях. И, возражая Дреллу (и очень в пользу Запада): даже нельзя замораживать вооружения на нынешнем уровне, Штатам надо устанавливать новые крупные ракеты «МХ». За это тут же на Сахарова напали четыре советских академика в «Известиях»: «...ненависть к собственной стране и народу... призывает к войне против собственной страны», — но одновременно и «Вашингтон пост» выразила разочарование: мы думали, Сахаров за остановку гонки вооружения, а его позиция приближается к Солженищину...\*\*

Проявить такую смелость изнутри СССР, да из ссылки! — и получить оплеухи с обеих сторон.

Немного отойдя — уже вся моя дальневосточная поездка виделась мне ошибкой. Столько подготовки, столько изучения чужого материала — и чего я добился? Всё более проступала японо-китайская дружба, а в апреле 1984 Рейган поехал в Пекин, сближался Красный Китай и со Штатами, — безумные советские правители сумели восстановить против нашей страны весь мир. Нет, надо окунуться в ещё большее молчание. Чужую пашенку пахать — семена терять. Да и не по силам это мне, повернуть их; вся задача моя — в одиночестве, и над бумагой. И темплетоновскую речь тоже бы лучше не произносить? Слишком прямые слова о вере — они не действуют, а вот уже и Пиво как бы косвенно упрекнул меня: «Вы много говорите о Боге». А когда, где — много? Что ж, не нужна была и та речь?..

Замолчать ещё и потому правильно было, что я Западу не судья: и не изучал его с полным вниманием, и не много досматривал своими глазами. Мои суждения о Западе потому, конечно, встречают и веские возражения. Да мне и не требуется непременно убедить сегодняшний Запад. Мне: умей сказать — умей и смолчать.

Но выйти из ампула «выступающего» — никак не легко: все привыкли ждать каких-то заявлений, и обращались с вопросами, приглашениями. Да ещё близился 1984 — «год Оруэлла» — и все на Западе загорелись обсуждать:

\* «Публицистика», т. 3, стр. 169 — 172.

\*\* И правда: в заблуждениях о природе Запада мы с Сахаровым были сходны, повторяли общую ошибку. С какой тревогой об американской судьбе я когда-то писал «Круг» с истинной «атомной» историей, в каком сюжете, по иронии переводческих обстоятельств, и посегодня в Америке не напечатанный. Столько лет я был уверен в правильности: пусть атомная бомба остаётся у них, только б не у коммунистов. Но постепенно дошёл: не к добру она у них, как и преступно же воспользовались в Японии. (Примеч. 1994.)

сбылись или не сбылись его предсказания. И в отказах — на что сошлётся? Только на занятость основной работой. А когда кончился тот 1984 — так придумали в Лондоне конференцию «По ту сторону 1984», представительную, приглашал лорд Челфонт. В отказе ему я впервые открыто написал, что прекратил политические выступления, именно потому, что мои прежние не достигли цели. И с тех пор ещё некоторым тоже так стал отвечать.

Но хотя я наконец круто замолчал — это не сразу стало заметно, и ещё три года лились и лились приглашения: в Йель — прочесть какую-то «Terry-лекцию» и участвовать в симпозиуме; Даунинг-колледж в английском Кембридже — сказать «речь как в Итоне»; в университет Майами; в университет Аризоны; в канадский университет Ватерлоо (и везде же — получать докторскую степень); прочесть «джефферсоновскую лекцию» для «Национального вклада в гуманность»; и «эразмусскую лекцию» в Нью-Йорке; и в Нью-колледж из австралийского Южного Уэльса; и на семинар в американской Высшей школе государственной обороны; и принимать почётные докторства в окрúжных колледжах; и в Сэнт-Джон-колледж в Аннаполисе — спикером на выпускную церемонию; и таким же спикером в Хелленик-колледж греческой церкви; и ехать в Сеул выступать на международном Совете христианских церквей; и в соседний с нами Дартмут-колледж — быть «профессором-гостем» для бесед со студентами; и неуёмный сенатор Хелмс на правах моего «старого друга» то и дело пересылал чьи-нибудь приглашения и настаивал, да вот — он свой самолёт пришлёт за мной; и ещё, ещё, уже всех не вспомнить. А ещё ж — телевидение, некоторые и по дважды и по трижды, как известный в Штатах Тед Коппель; или бостонская телекомпания «Севен»; или канадская; или американская Эй-би-си. Лондонская «Таймс» вдруг захотела делать снимки из нашей жизни в Вермонте (мы отказались); «Шпигель» запрашивает моё общее мнение об умершем Бёлле; «Дейли телеграф» — мой комментарий к литературным событиям в Москве. То — войти в комитет премий Альберта Швейцера. А в 1985 подвалило 40-летие конца Второй Мировой войны — и новый поток приглашений.

Всё это, конечно, уже 2-й или 3-й ранг публичности — но не пресекается и 1-й. Вот сейчас, уже в марте 1987, пришло приглашение выступить на конференции мировой медиа в сентябре в Сеуле с «ключевым обращением о (моей) современной оценке идеологической и политической борьбы Восток — Запад, включая (мои) мысли о моральной ответственности мировой медиа перед демократическими учреждениями», — так, чтоб это выступление «могло бы стать по рангу рядом с Гарвардской речью», а Сеул избран как фронтовая линия между коммунизмом и демократией. (И чтоб надёжней меня убедить — гонорар 150 тысяч долларов за это часовое выступление, во как!)

Да, громкое место. И даже чересчур громкое. И даже — как раз всё обратно моим намерениям: снова встрять в политику — и уже надёжно отрезать себя от родины до конца жизни. Отказался.

Или вот новое: Президент Миттеран и Э. Визель приглашают на конференцию нобелевских лауреатов в Париже — о спасении цивилизации. — И хочет со мной встретиться вдова шаха иранского. — И Далай-лама посещает Соединённые Штаты, выражает желание повидаться... — Или: снова «Таймс», предлагает написать для них большую статью о 70-летию российской революции. — Но ничего этого я уже не мог. Одно единственное принятое приглашение — потянет новые и разрушит весь выдержанный ряд.

О, долго, долго ещё выбиваться прочь из этой струи. Не в первый раз в жизни мне жертвовать внешним поведением ради дальней цели. (А если б меня в своё время на несчастье избрали бы «почётным гражданином Соединённых Штатов» — то разве была бы у меня такая свобода отказываться от всякой общественной деятельности в этой стране? — я не был бы настолько частным человеком. И в этом меня Бог охранил, тоже.)

Но вот был давний долг перед Э. Б. Вильямсом — благодетелем, помогшим и в спасении А. Гинзбурга и выигравшим суд против Карлайлов. Он про-

сил всего лишь: принять почётное докторство в его alma mater, колледже Холи-Кросс в Массачусетсе. Года два я откладывал, но в 1984, когда наотрез замолчал, — вот тут подступило, что уж нельзя отказать, всем отказал — а тут надо поехать. Однако удалось там настолько рта не раскрыть, что это и не был нарушенный случай из ста.

А вот самое недавнее, уже весна 1987, — письмо от Николая Толстого-Милославского, опубликовавшего по-английски две книги в разоблачение английского предательства русских казаков весной 1945 в Австрии — сперва боевой строй, две тысячи офицеров, разоружив их обманом (среди них — и ещё недопреданных до конца своих союзников по Первой Мировой), потом до 40 тысяч рядовых казаков, — лукавая и жестокая история, так типичная для английской политики. Но ещё разительней вослед: 35-тысячный казачий обоз, стариков, женщин и детей, во время войны утекших прочь от советского благоденствия со своих родных Дона и Кубани — а теперь английскими прикладами и дубинками возвращаемых Советам же на расправу. (Предсмертную их над самими собой панихиду, и раздирающую ту расправу, и самоубийства их я описал в «Архипелаге», часть I, гл. 6.) Высшим командиром той расправы был бригадир Тоби Лоу — после войны возвышенный в лорда барона Алдингтона (содельствием Макмиллана, верховно касательного к той же расправе).

Так вот, саму книгу Николая Толстого лорду-барону пришлось снести. Но теперь в Винчестер-колледже, которого лорд является почётным опекуном, некто Нигель Вотс распространил 10 тысяч листовок с цитатами из книги Толстого и своим из неё выводом: Алдингтон, за своё прошлое, должен быть удалён от попечительства. Барон — безмерно богат, и тут же подал на Вотса в суд, обещающий обойтись в полмиллиона фунтов стерлингов, а при проигрыше — и в миллион. И Н. Толстой, с дворянским благородством, счёл своим долгом добровольно стать в соответчики. Заранее леденит: что из этого процесса выйдет? Без омерзения не могу думать об английском суде: ведь он конечно станет на защиту «английской чести» и прикроет военных преступников; о чувствах же русских — в Англии не подумают.

Так опять — бороться, будить английское общественное сознание? да неизбежно опять читать английские юридические бумаги, тонуть в их болоте? Нет, я способен искать истину и на самых больших сквозняках истории, но не в судах. Мучительно тяжело. Ограничился денежной помощью в объявленный для Толстого сбор средств\*.

Трудно, трудно и долго мне досталось утягиваться в молчание.

И ещё же отдельный русский случай — празднования! Очень любят русские эмигранты — то строить памятники на чужой земле (Владимирский собор — «храм-памятник», и какая ж его будет судьба в Штатах?), то собираться на торжественные церемонии (не раз звали меня быть «введенным в палату Славы» Конгресса Русских Американцев). А тут приближается и воистину великая дата: 1000-летие русского Православия. Но когда родина наша разорена, растоптана — уместно ли такое пышное празднование? не лучше ли бы — долгий пост и скромная молитва? Нет, каждая «юрисдикция» зарубежного русского православия создаёт свою комиссию, готовит праздник и докладчика на нём, и докладчик этот — разумеется, я. Осенью 1985 получаю приглашение от Парижской архиепископии, весной 1986 — от Зарубежной церкви. Ответил я отказами, но в обоснование — только моя неготовность и недостойность делать такой доклад. Не могу написать им открыто: да только хуже сделаем сами

---

\* Затем суд тянулся, тянулся по-английски. И присудил: Н. Толстому (Вотса уже и не вспоминали) уплатить лорду Алдингтону — до полутора миллионов фунтов стерлингов!! — то есть сесть в долговую тюрьму. Да тут не об одних казаках в Лиенце шло, сколько потом беспомощных выдавали и из самой Великобритании! (Об этом — тоже в «Архипелаге».) Не выдержал я и написал письмо английской королеве. [1] Просил королеву найти способ загладить чудовишный приговор, хотя бы символический сделать жест! Нет, получил я отписку от букингемского чина, что королева «с интересом» познакомилась с моими взглядами... (Примеч. 1991.)

себе: меня по всему миру клюют, будто я — проповедник теократии; а ещё б теперь такой мой доклад на эмигрантском сборище — да и будет оно ославлено как «бесовщина будущей православной автократии», если не «черносотенства».

И о том же Тысячелетии просит у меня интервью Би-би-си; и католический международный журнал «Compassio» на двенадцати языках — да разве я им учитель?

Конечно, странно мне — такую дату пережить без единого внешнего движения. А придётся.

---

Чтобы сохранить непрерывную линию моей жизни — отказы эти были неизбежны и спасительны.

Большие книги надо и писать долгими годами — много к тому причин и много в том преимуществ. Когда так долго пишешь — в тебе самом наслаиваются, проявляются разные настроения, разные взгляды, — и вся эта многослойность органически перетекает в произведение и углубляет его. Гонишь, гонишь 1-ю или 2-ю редакцию тома — оторваться нельзя. Но потом — хорошо и отложить, заняться другими частями, а после перерыва снова вернуться к отложенной — за это время произошло твоё внутреннее созревание, даже и в крупных мыслях, тем более накопление мелочей и характерностей. (Может быть, поразмышляешь и над несостоявшимися, альтернативными путями событий, это обогащает мысль. И ещё: через какую бы гущу зла ни протянулся сюжет — не дать искорёжиться на том душе ни автора, ни читателя, — достичь созерцания гармоничного.) — А уж выпуск книги в свет — должен быть замедленным и даже торжественным выдохом.

«Колесо» даёт мне пережить как бы ещё одну добавочную полную жизнь — от конца XIX века и прежде моего сознательного возраста.

Да, конечно, выросла громадина. Но потому я вынужден охватить такой объём, чтобы была *доказательность*, а не пятна импрессионистические, ни для кого не обязательные. Историческая эпопея — это не развлечение пера, она только и имеет вес при сквозной достоверности. Да когда исторический материал так изобилен — разве потянет на вымысел? Материал — он и ведёт, а я должен быть точен до научности. Но при этом: дышишь в слове, который выше научности. Шпенглер очень метко сказал: труд историка требует особого органа, особой концентрации чувства и воображения, дающих каждое мгновение истории переживать с точки зрения вечности, в увязке и с прошлым и с будущим.

И только удивляешься самодвижению эпопеи.

Переход от «Марта Семнадцатого» к «Апрелю» поставил передо мной ещё новые задачи, так что едва не зашатался метод Узлов. Кажется: от 18 марта (конец III Узла) до 12 апреля (начало IV Узла) — рукой подать? а сколько событий и оттенков проваливается. Куда? Возникает понятие «Междуузелья». Метод Узлов не разрешает его описывать, а сцепка событий требует: хоть что-то, самое малое, надо дать! Как с помощью лекал любую кривую вычерчивают плавно, так и тут: связь — надо сколько-то дать.

Ну, во-первых, вот и время ввести новую форму: Календарь Революции — бесстрастный отступ главнейших событий этого промежутка. Во-вторых: для самого-пресамого необходимого — суметь применить ретроспекцию, вплести её в главы уже следующего Узла.

«Апрель» же, в который я стал входить с осени 1983, распахнул много секторов, свежих по отношению к бурнореволюционному «Марту». «Апрель» открывает собой цикл Узлов «Народоправство», включая «Сентябрь Семнадцатого», полугодовую бесславную историю, как «победившая» (в России — сочинённая образованными людьми) демократия сама по себе беспомощно

падает. В распах демократического веера сильно расширяется и тут же дробится социалистический поток. (Для советских читателей, на своей шкуре прошедших школу социализма, — многополезный материал.) И уже в кризис 20–21 апреля (подожжённый большевиками) социалистический путь одерживает верх над буржуазным — но в каком множественном столкновении мнений! Невылазная путаница уличных дискуссий — и никакой аргумент нельзя передать лишь по разу, тогда не будет толпы; значит — многократно, в разных формах, и, значит, объёмно. Пёстрое разноречие мнений — это и есть воздух той короткой эпохи. Речи, речи, межгазетные споры, — апрель затоплен речами (а ещё что будет дальше! Россию — проговорили, проболтали в совещаниях); а русский язык, с передвижкой к социалистам, всё обесцвечивается и вянет.

И эпизоды, эпизоды — из столичных уличных растеклись по всей России: провинциальные города, железные дороги, деревни — вся Россия в бурлении. Неделями напролёт сидел у фильмоскопа, читал газеты тех дней.

А ещё же Ленин! Только тут — он впервые в России, впервые действует на реальном поле, а не в эмигрантских склоках, — и продирается с прокалывающей резкостью через пестроту социалистов. (Со многими ляпами, однако, с каким невыразимым вздором в иных лозунгах, теперь сокрытых дремучей лживостью большевицких источников. Уж кажется — сколько я о Ленине изучил! — а по «Апрелю» ещё вдобавок любопытнейшее: на двух апрельских партконференциях видные большевики разумно, убедительно опровергают ленинские заносные планы. А как доходит до голосования — Ленин почему-то неизменно выигрывает. Какой-то биологический инстинкт в партии.) Работу над этим Лениным — ещё как заново начинаешь.

А в тех же неделях — возвращается в Россию и Троцкий! — не оставить же и его без разработки. Какие они с Лениным разные — и как же злоспешно друг друга дополнили.

Надолго же я выбыл из современности. (С нынешними Штатами — живём мы в разных концах XX века и на разных континентах.)

Распахнув и одолевая «Апрель», увидел я: да эти первые четыре Узла «Колеса» уже покажут полный развал феврализма к концу апреля Семнадцатого. Дальше хоть и не писать.

А у меня-то материал уже много изучен, накоплен и на все двадцать Узлов. Тогда стала во мне просвечивать такая идея: как сами Узлы выхвачены из исторического потока частными пробами — так и из Узлов ненаписанных можно решётчатыми пробами выхватить основные события — и дать их плотным конспектом. Сводка оставшихся Узлов — Конспективный том?

Но — и до того тома ещё идти и идти. А к весне 1987 исполняется 18 лет моей непрерывной работы над «Красным Колесом».

А — как уже тянет: вернуться к малой форме. И — к 20–30-м годам, которые я в живой памяти держу, не по книгам и пересказам.

---

Однако отказаться от общественных выступлений — это ещё не значит замкнуться для работы над «Колесом». Ещё же тянутся заботы и обязанности по сериям ИНРИ и ВМБ. Приезжала для обсуждения следующих работ и обнадёжливая молодёжь: Юрий Фельштинский (дважды), Анна Гейфман, Виктор Соколов. Приезжал из Европы Николай Росс (третье поколение Первой эмиграции, из потомственной военной семьи, писал он работу о гражданских и социальных аспектах врангелевского управления Крымом). Профессор Полторацкий с женой — к моей радости склонявшийся к «Летописи русской эмиграции». Аля, сверх сил, отрываясь от выпуска в свет «Октября Шестнадцатого» и от сотен своих обязанностей, домашних и приходских (а в приходе — теперь и ежелетний лагерь для русских малышей, надо опекать и его, и даже Ермолай и Степан там «преподают» младшим), — ещё вкладывалась в мои со-

всем отдельные статьи, готовила воспоминания генерала Герасимова (о Пятом — Шестом годах) и вытягивала редактуру многотрудных рукописей военнопленных последней войны (первую такую за 40 лет книгу готовили мы, и сборник этот, как и Волкова-Муромцева, в охотку набирал Ермолай, да только Але надо было всё пристально корректировать).

Но главное, что изматывало Алю все годы, это — заботы нашего Фонда: обеспечение тайных денежных потоков в СССР, позже и наладку продуктовых и вещевых посылок тем, кто смел и мог получать прямо (а в феврале 84-го закон Черненко: за использование средств иностранных организаций — 10 + 5 лет, — конец? будут бояться?). И — по отдельным заказам из Москвы — срочное доставание разных лекарств. А поверх того, и самое-то отчаянное, — все годы (вновь после Гинзбурга) с 1983 и вот по нынешнюю весну 1987, — защита арестованного Сергея Ходоровича. А для этого — многие письма, обращения, воззвы и личные поездки в Вашингтон — к сенаторам, конгрессменам и солидным публицистам (как Джордж Вилл), видным газетам (пресс-конференции), и к американским делегатам, едущим в Москву ли, в сферу ли высших международных переговоров (Женева), — прося защиты Ходоровичу — и нередко же её получая. (Во многом сердечно помогала Люся Торн, выросшая в Америке дочь русских эмигрантов.) И интервью, и статьи в парижские и лондонские газеты. — А между тем после Ходоровича — сумятица в возглавлении Фонда в *Москве*, новый заместитель Андрей Кистяковский то схвачен на улице, то угрозы *посадки* ему (едут сенаторы в Москву — защитите! посетите Кистяковского, это и будет защита), а у него обнаружили меланому — опаснейший рак! В Америке изобретено какое-то новейшее лекарство, его ещё нет в продаже, — достать через Американскую Академию Наук и наладить передачу через американское посольство в Москве. (И это всё — вложить в напряжённые, плотные, «левые» письма в Москву, оказия к которым разражается всегда внезапно, и приходит же писем оттуда сразу лавина — и отвечать надо срочно всем, и ничего важного не упустить. Но в этих письмах, говорит Аля, «свет, и смысл, и вся серьёзность жизни».) Не спасли Андрея, умер, совсем молодым.

Аля никогда не могла разгрести свои столы от нарастающих папок и писем — а умудрялась, при являвшихся оказиях, ещё послать в Москву по 3-4 пуда книг, «запретных», — туда, нашим, читать! (Аля: «тяну, как через тайгу с поклажей, чувство не просто усталости, но истощения; жду Великого Поста как скалу среди хляби», — чтоб укрепиться.) Всегда плотно занята от рана и до поздна, и падает без памяти. А больше всего любит работать над моими текстами. И правда, так она ими пропитана, что слышит, угадывает, какое слово вот тут бы естественно, охотно я бы поставил.

Само собою, приезжали к нам друзья. Кроме супругов Струве и Банкулов, уже и сыновей их выросших, — Стива Ростропович, то один, то с Галей Вишневецкой (на масляну), то любимый наш «невидимка» Стиг Фредриксон. То Саша и Элла Горловы из Бостона. То, из Швейцарии, адвокат Гайлер, благодетельно спасший наш Фонд от поклёпа. То цюрихская чета наших друзей Видмеров. То из Буэнос-Айреса Николай Казанцев, выросший в эмиграции, а страстный патриот, издатель тамошней «Нашей страны», — единственный аргентинский корреспондент, прошедший всю Фолклендскую войну, — пружинно-стройный молодой человек. То — уже совсем новые знакомые, вдоль по музыкальному пути Игната, и учителя его. Приезжал и директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, радушно и настойчиво звавший меня поработать у них, — да мне уже не нужно было, все материалы у меня дома.

А то — профессор Эдвард Эриксон из Кальвин-колледжа, из Мичигана, с которым мы письменно познакомились после того, как он опубликовал свою книгу «Solzhenitsyn. The Moral Vision». Давно он предлагал произвести сокращённую однотомную версию «Архипелага» для Америки, где прочесть три тома не в состоянии почти никто, — чтобы я сам это произвёл, или кому-нибудь поручил, а буде приглянется — то ему, он бы взялся охотно. Просмотрел

я его проект — а что, может и полезное дело. Без российских углублений, с потерей исторических деталей и доли атмосферы, — а может получится, для нелюбознательных или зашумленных мозгов американской молодёжи. И трудолюбивый Эриксон взялся за работу. Потом я должен был просматривать все поставленные им «лапки», исправлять кое-где. (В облегчение мне Ермолай взялся по всем трём томам «Архипелага» перенести эриксоновские «лапки» с английского текста в русский. Для этого разложил работу на столе в «гостевой» комнате перед большим окном, откуда широкий вид на холмы, работал там не меньше недели. Однажды, когда на 10 минут спустился в кухню позавтракать, — раздался оглушительный стекольный звон. Прибежали — это с силой разбил вдребезги двойное стекло крупный ястреб, — мёртвой грудой лежит на столе, и засыпан осколками стол, все «Архипелаги» и полкомнаты. Сидел бы Ермолай — изуродовало бы и его.)

В конце 1983 Эриксон приехал к нам, обсудить состояние работы. Кое в чём я поправил, но многое он выбрал верно, понимая ментальность американской молодёжи. Оказался он ладный, крупный, основательный, лицо обросло коротко стриженной порослью, что-то шкиперское. Размеренный, очень доброжелательный. И более всего заинтересованный духовными вопросами. Он работал совершенно бескорыстно, для облегчения договорных формальностей с издательствами отказался от гонорара. (Потом — тянуло издательство Харпер. А когда в 1985 издали — то книга в Штатах мало кому понадобилась: «это всё — прошлое», и от них далёкое.)

Но помимо всех таких естественных встреч — дружеских или необходимо деловых — ещё же нависают пожелания встреч от многочисленных незнакомцев или отдалённо слышанных имён, — вот и замкнись. Особенно американцы, да и многие эмигранты поразительно падки к личным встречам как к самым необходимым. Так и добиваются: встретиться, встретиться! повидаться! (Иные — чтобы только сфотографироваться вместе.) Большой частью мне заранее понятно, что встреча совсем и никак не нужна: на бесплодной почве, пустоговорная. Бывают, реже, и такие, смысл которых заранее не угадываешь, может, что-то бы и надо? Однако при встрече, в беглом-необязывающем разговоре сказал что-нибудь гостю — это мнение моё завтра же пойдёт гулять по гостиним, да ещё исказят — даже хуже, чем если бы я его напечатал. Одна фраза — и забренчат искажения кубарем. Нет уж: замолкнуть — так замолкнуть. «Эмиграция в эмиграции».

И ещё же — особенность нашей жизни на отшибе: к нам нельзя издали ехать на два-три часа: обратный путь уже во дне не уместится, где-то ночевать. По-русски — не вышвыривать же людей в гостиницу, значит — ночуйте у нас. А значит — не меньше полутора суток на каждую встречу, да ещё и потом не сразу вернёшься в поток работы. А вся работа моя, 365 дней в году, может течь — только в повседневной, повседневной неотрывности, неразрывности.

А ещё же и такие настояния: «пять минут поговорить по телефону, лично!». Но — абсолютно не телефонный я человек, самый темп телефонных сношений давно уже отучился впускать в свою жизнь. Да в таком темпе не люблю и решений принимать, не учёшь всех соображений, ошибёшься. «Телефонным» людям кажется дикостью предпочитать письмо, когда можно «сразу поговорить». А для меня, напротив, дико, что люди не хотят признать никаких пространств, разлук, уединений, а — сразу выслушай, сразу ответь. Давно уже, в лагерях, набрался я, что лучшие верные мысли всегда приходят после подуманья.

В разные годы отклонял я настояния встретиться — многих, многих, и даже не по разу, и ещё таких, кому очень трудно было отказать — то писателям (просился приехать и Евтушенко: «объяснить» мне правильное поведение в Америке), то — эмигрантским публицистам, то едва только выпущенным за границу диссидентам.

Вот как-то переслали мне по просьбе Солоухина (отпущенного на короткую поездку в Швейцарию) его последние стихи. Не формой они выделяются, как у него всегда, но — трезвостью мысли. В одном пишет: в Гражданскую войну «Я мог погибнуть за Россию, / но не было меня тогда»; как он избежал и раскулачивания, и фронта, и лагеря, и других смертей, — так именно это обязывает его теперь: «Я поднимаюсь, как на бруствер, / на фоне трусов и хамья, / не надо слёз, не надо грусти, / сегодня очередь моя». Только мечтает? или вдруг да делает? Одно такое движение-жертва известного лица в СССР может больше сдвинуть, чем долгая эмигрантская организация. Но — решится ли?..

Осенью 1979 Солоухин был в Штатах и предлагал приехать ко мне — а я отклонил. Любого другого «деревенщика» — сразу бы пригласил, а Солоухин — как будто приласкан властями? Обменялись мы письма по два. Я посмотрел его последнюю публицистику — написал ему: автор, печатающийся в СССР, в отвычке от подлинного выражения мыслей, невольно попускает себе много лет работать не в уровень, трудно сохранить его в рост с подлинными задачами.

Однако в 1980 Солоухин напечатал в «Гранях» два рассказа — «Колокол» и «Первое поручение», из времён коллективизации, это был заметный и смелый шаг. И когда в марте 1984 о. Виктор Потапов позвонил нам из Вашингтона, что Солоухин в Штатах и снова хочет повидаться, — я согласился. Встретились мы тепло, сознавая себя писателями общей литературы (хотя вид у него с 1963 года стал довольно номенклатурный). Тут — и 22 марта, весеннее равноденствие, Аля «жаворонков» напекла. Это был для нас с Алей первый случай (кроме Евы, единожды) приезда к нам человека — прямо из СССР, советского гражданина, — необычное, волнующее впечатление, но и напоминание, как же условны все человеческие границы. А тайная книга его, о которой он намекал в письмах, оказалась — какое-то разоблачение советского режима, о которой покровитель Солоухина Леонид Леонов-де говорит: «атомная бомба». Ох, не думаю. И такие бомбы — надо вовремя взрывать, а не ждать — чего? — Подарил я Солоухину своё собрание, как было, до 12-го тома, в малых шкафах, — он повёз, и довёз. И никто б о нашей встрече не знал — если б не собственный его язык: кому-то рассказывал, дошло до начальства, его вызывали (и он потом тревожно сообщал через Париж; но обошлось). И вот, распространился такой слух, и опять: «русская партия» сколачивается!

Не один раз просил об интервью Жорж Нива — но каждый раз мне было почему-либо некстати и я отказывался. А между тем он был из паскалевской группы русистов, и несколько лет учился в Московском университете. И, ныне профессор Женевского университета, сохранил живую любовь к России; с большим вниманием и к моей работе. (Вдруг прислал мне удивительный снимок фрески в базилике на одном из венецианских островов: изображение *красного колеса* у подножья Божьего престола — как это понять? Кажется: «колесница Иезекииля», символизирует силы небесные.) Он опубликовал по-французски монографию обо мне, отдельную книгу, все говорили, что удалась. В конце 1984 он прислал мне уже и русское издание.

Действительно, местами — острое художественное зрение, тонкая душевная угадка, какая даётся редкому критику; и — меткие общие заключения. (Хотя не пойму, что значит «галлюцинация реальности» у меня или где у меня «реализм избыточности».)

Очень отчётливо — о композиции, ритме, о русской теме, органичной сроднённости с русским языком. Немало труда пришлось приложить Ниве и чтоб уточнить биографические факты (из-за физического удаления — тут неизбежны ошибки, изрядно), и немало же, чтоб, интуитивно, пробраться сквозь ходячие обо мне кривотолкования. (Часть и осталась: легенда, будто я потому так усиленно пишу, что это даёт мне надежду отсрочки от смерти; да якобы любованье теократией; или ненависть к Плеханову.) Но — понял он моё положение между эмигрантщиной и мировой образованщиной, безвыходно обложенное неприязнью, и верно предрекает: «У Солженицына всё меньше шансов быть услышанным».

Однако при выходе французского «Октября» к лету 1985 я вынужден был снова отказать Ниве в интервью, потому что уже о том дал Струве. А осенью 1985 Нива работал в Гарварде — считается «рядом», и выразил желание приехать. Очень приятный, скромный, даже кроткий, тихоголосый. Мило провели с ним сутки, но не думаю, чтобы наш разговор дал Жоржу искомое им углубление в мою работу: для этого нужна целая полоса общения — и работа, работа над текстами.

А в конце 1983 выехал на Запад Юрий Петрович Любимов. Писал мне из Лондона, что телевидение ФРГ хочет делать постановку по одной из моих книг, в первую очередь две новеллы о Ленине и Сталине (сюжет и охват ещё не уточнены). Согласен ли я? Я ответил: согласие на постановку — пожалуйста, но: начинать со Сталина — это упрощение нашей истории, а «Ленин в Цюрихе» встретил могущественных врагов на Западе, вам будут препятствия.

Только что посвежу из советских придавленных кругов — Любимов многого ещё, тут западного, не представлял.

А история отношений с Любимовым у нас была вот такая. Познакомились через Борю Можаява, были очень взаимно теплы и непосредственны, встречались несколько раз (и на поминки Твардовского ездили). По моему ощущению, он отличался постоянной открытой сердечной готовностью, которую никак не ограничивало его видное положение в театральном мире. Очень он непринуждён, светлая улыбка, искренние порывы. Особенно же запомнился их с Борей бесстрашный визит ко мне в Переделкино, за день до моей высылки, когда надо мной все бури гремели. Они смело прошли через оцепление гебистских надзорщиков.

В связи с проектируемой постановкой Ю. П. хотел приехать ко мне в Вермонт тем же летом, и я уже посылал ему расписание самолётов и автобусов. Потом он смолк, больше чем на год, никак не объясняя; очевидно, уже вник в западную обстановку. И — прав. Тем временем он напечатал несколько обширных интервью, ещё обожжённый всей *тамошней* болью своей и своего театра, — и, по-моему, слишком придирчиво клеймил А. Эфроса. Эфроса я знал по незаконченной нашей с ним работе над «Свечой на ветру» в Театре «Ленинского комсомола» — и хотя я несколько с ним не сдружился, но и отвратного образа уж никак не вынес.

Прошло два года — вдруг Юрий Петрович звонит из Бостона, что в этом ноябре он здесь (мы уже из газет знали), и очень нужно повидаться. Я рад ему, но знаю, что тактически ничем ему встреча не поможет: слишком разный жизненный опыт, разные углы зрения. Приехал, пробыл сутки. Всё так же он был изранен положением театра и своим. Вот каков был его проект: сделать нам втроем с Ростроповичем какое-то общественное заявление о положении советского искусства — и с удивлением услышал от меня, что моё участие только потопило бы то заявление. (Был как раз пик травли меня в Соединённых Штатах.) До такой степени он изранен, а ещё старше меня на год, — не знаю, как ему хватает сил тянуть работу, невыносимую на иностранных языках, мало известных ему. Но поражаюсь, как энергично он справляется. (Ещё год спустя, в горбачёвскую новизну, промелькнула ему возможность вернуться в Москву, он звонил к нам, зондировал наше мнение — мы очень советовали ему ехать.)

Осенью 1986 оказался и Юрий Кублановский близ нас, в Дартмут-колледже, и тоже приезжал. Он от момента эмиграции в 1982 открыто вслух выражает приверженность к моим книгам и согласие с моей линией — и за то подвергается от третьеземigrants самым унижительным насмешкам. Но в день его приезда и он и я оказались больны — и мало что вынесли от встречи. Да читать заочно его стихи, да обмениваться хорошими письмами — мне кажется ничуть не меньше встречи. Я считаю Кублановского весьма талантливым, из лучших русских поэтов сегодня, и с очень верным общественным и патриотическим чувством, — хотя его усложнённая метафоричность, нередко ускользающая в перегибах, огорчает меня. Не верю, что сегодня нельзя писать «просто».

А кроме встреч — сколько произвольных фраз неоглядчиво утекает через письма. Пишут, кажется, самые честные люди и с самыми честными намерениями — как можно, стиснув зубы, промолчать? как можно не протянуть руку поддержки? Вот М. Г. Трубецкой, из тех самых Трубецких, следующее поколение, шлёт воспоминания отца, я читаю, отзываюсь — а он отрывки из моих писем помещает как «предисловие» к своим публикациям (один — спросив разрешения, другой — уже и без). — Игорь Глаголев, перебежчик 1976, надрывается в борьбе против Советов, отвечает ему сочувственным письмом — вскоре узнаю, что я, заочно и без моего ведома, избран в «почётные председатели» их политической коалиции. — О. А. Красовский ездит по Штатам и Европе и, в утверждение своего новообразованного журнала «Вече», читает вслух моё совершенно частное к нему письмо. — Художник Дронников издал книжечку статистики о старой России, верного и полезного направления, прислал мне, — ну как промолчать бесчувственно? Шлю ему всего две-три фразы в письме — в следующем его выпуске они уже напечатаны как реклама на обложке! — Какой-то молодой человек П. Орешкин шлёт мне альбом своего исследования об этрусском языке, я не могу вникнуть в суть, но так ему нужна духовная поддержка, все его отвергают и смеются, — я пишу письмо с сочувственными словами, нельзя же истуканом замерзнуть в холодной высоте, — он выхватывает из письма благоприятное, опускает невыгодное, ещё переставляет фразы, как ему ладней, — и эту подделку печатает предисловием к своей книге!

Так что, я уже и писем никому не должен писать, так получается? Замкнуться до того, чтоб — и ни единого письма? Только так в этом эмигрантском кишении можно устоять?



Жалею ли я, что 10 лет, от «Письма вождям», не бросал напряжённую публицистику да «спасал» Запад, тем же самым и подрывая своё литературное значение и влияние? Эта деятельность была, да, ошибочна, но я не жалею о ней: «душа требовала» *врезать* сперва коммунистам, потом западным радикалам, потом «плюралистам», и я не мог иначе. Ведь мой врыв в публицистику и политику произошёл вовсе не от высылки на Запад, а ещё в СССР: «Письмо вождям», статьи «Из-под глыб», не говоря уж о войне с Союзом советских писателей. Так требовало неунимчивое сердце, и неизбежно было мне через это пройти. (И Ермолай — в меня, и в мать. Интерес его к политике всё обостряется. Схватился набирать на печатной машине мою статью «Черты двух революций». Рано утром до школы он непременно слушает последние известия — и когда считает новость чрезвычайной — бежит ко мне в рабочее здание, сообщать, — я слушаю только в полдень. Так, исключительно взволнованный, принёс он мне весть о смерти Андропова. — «Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» А как он эту власть себе готовил...) Моя общественная активность была — и в традиции русской литературы: если я вижу грозную опасность — я должен пытаться всем открыть на неё глаза. Да на Западе старался я убедить не политико-журналистическую братию, а простых людей. А на Востоке — как иначе защищать союзников, сотрудников, Фонд? как же — без публицистической войны с Советами? А тогда что ж? — бей в одну сторону, куда стало не опасно? а на Западе что б ни увидели глаза — молчи?

Нет, не жалею. Но и замолчал же с 1983 года — в обе стороны. И отбил-ся. И — замкнулся.

На самом деле, проблемы XX века совсем и не умещаются в текущей политике, они суть наследие трёх предыдущих веков. Писателю и надо задумываться над глубинами проблем, а не мельтешиться по сегодняшнему дню. Есть — *верхний* Зов Времени. Верховой.

В такой изумительной, необъятной тишине, как в Пяти Ручьях, не жил я нигде никогда — да без навязчивых громкоговорителей, всю мою советскую жизнь долбивших, изнимавших меня. Тут проснёшься ночью — и всем телом, всей душой чувствуешь себя частью неохватимого молчащего Мира. Я лежу — на самом дне его, а в недостижимой, непостижимой высоте — Господь, и оттого остро чувствую себя защищённым, глубоко сохранённым. Звуков — вовсе нет, начисто. Но если и раздастся дальний лай собак на фермах или урчаще-всхлипывающий, ни с чем не сравнимый призыв койота (моего любимца! подойди, подойди поближе!) — то эти звуки только ярче дают ощутить несравненные размеры Пространства.

А вот, в бессонницу, прорезался как дразнилка замысел *двучастного рассказа*, первого. Вот бы после «Колеса» успеть написать их несколько, очертить этот естественный под-жанр рассказа.

---

А — ещё же, ещё же! С 1947 года, с шарашки в Сергиевом Посаде и через все лагеря, ссылку, через всю жизнь, 35 лет делал я выборки сочных слов из далевого словаря: сперва выписывал 1-й экстракт, потом из него самое яркое — 2-й, потом и 3-й. Всё это — в записных книжечках, мелким почерком, — а какова их судьба дальше? И нет же времени обработать как-то.

А — заметил я, что в младшеньком моём Стёпе, кроме жадного интереса сперва к географии, а постарше — и к богослужебным текстам, ко всему их богатству, и на обоих языках, церковно-славянском и английском, — заметил в нём определённое лингвистическое чутьё. И, не помню, сам ли я предложил, а верней он первый потянулся к моим этим книжечкам, — но с августа 1983 (он годами помнил потом и дату, любую) принялись мы с ним, десятилетним, за такую работу: из моего последнего экстракта делать ещё один, идя по моим отметкам в блокноте, и сразу он будет печатать на машинке на малых, половинных, листах. Норма была ему на неделю сперва 2 листика, потом 3, потом и до 5, а дни работы он выбирал сам. Для него это было хорошее упражнение в объёме, смыслах и красках русского языка; а для меня — реальная помощь: из моих записных книжек никто бы, кроме Али, не взялся набирать, но она беспроглядно занята; а дальше, машинописные листики, — я уже мог отчётливо готовить и для наборщика. В 1987 исполняется сорок лет моей непрерывной работы над сохранностью погубляемой русской лексики — и наконец следует завершить выпуск словаря. (Вначале были у Стёпы минуты слабости: вдруг, при считывании, расплакался и признался, что иногда пропускал отмеченные ему слова — в надежде, что работа таким образом быстрее кончится... Но после раскаяния он уже больше так не поступал.) Замечательно мы с ним проработали четыре года, вот и кончаем.

Если бы не Степан — никогда б я на эту работу времени не нашёл. Теперь остаётся мне вновь перечитать всё дважды, вставить ещё выборки примеров словоупотребления у разных писателей — и сдавать в сложный компьютерный набор (шрифтов будет больше дюжины).

Мысль добавлять примеры из русских писателей полезна наглядностью для скептических читателей: что весь этот словарь — не придумка, а слова давным-давно в употреблении, и никому же не резали глаз и ухо. — Эта мысль пришла мне и оттого, что главная доля проработки неохватного исторического материала постепенно оставалась уже за спиной. И вот, после неразгибных семнадцати лет над «Колесом», когда все, сплошь все вечера отдавались обработке очередных исторических материалов, чтобы только не задержалась утренняя завтрашняя работа, — впервые проявился просвет в моих вечерах — и я мог разрешить себе *просто читать*, просто читать русскую литературу! Странно ощущал я себя в этом сниженном темпе, с наслаждением втягивал. И из Девятнадцатого сколько упущено, и из Двадцатого сколько не знаю!

С той зимы — да впервые от лет тюремного чтения — я мог разрешить себе читать не именно только для своей работы, но и «просто так», по выбору, для удовольствия. Первыми тут были — Бунин, «Обрыв» Гончарова, Глеб Успенский, Островский. И нельзя было не потянуться выписывать найденные слова — а они охотно втеснялись в мой словарь. Затем, уже специально для выбора слов, я читал Мельникова-Печерского, Мамина-Сибиряка, затем стал выписывать из В. Распутина — В. Белова — В. Астафьева, и пошло, и пошло.

А острей-то всего жажда читать у меня была к советской литературе 20-30-х годов, там — многого не знаю, и много недосказанного. (И — как бы тянет вернуться в юность свою, в начало своего литературного бытия.)

Но и «просто читать» я, оказывается, тоже не сумел: всё время тянется рука записать своё суждение, оценку, частную или общую, — о приёмах автора, о композиции, о персонажах, о взглядах его, и цитаты отдельные. А когда столько понавписано — то и тоже не бросишь в запуски: надо ж выписки обработать и перелить в сколько-нибудь стройный порядок, в связный текст. И так складывались — по разрозненным книгам — не то чтобы литературные рецензии, нет, а просто — мои впечатления. Вот, они прибавляются, я стал называть это «Литературной коллекцией». Может, и в следующие годы ещё наберётся.

Да какое наслаждение, что можно наконец впитывать, что было пропущено в бесконечной гонке и сдавленности всей моей жизни — покрыть прорехи моих знаний, — ведь я пробежал свою жизнь, как лошадь, погоняемая в три кнута, и никогда не было мгновения покоситься в сторону.

Вот, пишу про меня как несомненное, что я нахожусь под влиянием славянофилов и продолжаю их линию, — а я до сих пор ни одной книги их не читал и не видел никогда. Или требуют интервью: как я отношусь к «вётевско-манновской традиции гармонии» — а я Томаса Манна и ни строчки не читал до сих пор. А то усматривают «очевидное влияние» на «Колесо» «Петербурга» Белого — а я ещё только вот собираюсь его прочесть. Разве со стороны можно представить, до чего была забита моя жизнь?

Но и больше того: художник и не нуждается в слишком детальном изучении предшественников. Свою большую задачу я только и мог выполнить отгородясь и не зная множества, сделанного до меня: иначе раствориться, задёргаться в том и ничего не сделаешь. Прочёл бы я «Волшебную гору» (и сегодня не читал) — может, она как-то помешала бы мне писать «Раковый корпус». Меня то и спасло, что не исказился мой самодвижущий рост. Меня всегда жадно тянуло читать и знать — но в более свободные школьные провинциальные годы не было надо мной такого руководства и не было доступа к такой библиотеке, — а со студенческих лет жизнь съедала математика; только перекинул мостик в МИФЛИ — тут война, потом тюрьма, лагеря, ссылка и преподавание всё той же математики, да ещё и физики (подготовка классных демонстраций-опытов, в чём сильно затруднялся). И — годами, годами сдавленная конспирация, и подпольная гонка книг, за всех умерших и несказавших. И в жизни надо было досконально изучать артиллерию, онкологию, Первую Мировую войну, потом и предреволюционную Россию, уже такую непредставимую. Теперь по собственной библиотеке, Алей собранной, хожу и с завистью пересматриваю корешки: сколько же я не читал! сколько упущено прочесть! Вот — написал всё главное, снижается внутреннее давление и давление с плеч — теперь-то и открывается простор для чтения и знаний, теперь-то и наверстать всё упущенное за десятилетия гонки. И европейскую же Историю — от Средних веков. (В МИФЛИ прогнал по марксистскому учебнику, да и забыл всё.) И особенно — европейскую мысль, от Возрождения. А Библия — не перечтена с детства, а отцы Церкви — и никогда. И не теперь ли, на конце жизни, — всё это и нагонять?

Говорят: учись, поколе хрящи не срослись. А я вот — на старость. Стал перечитывать свои тюремные конспекты по философии, спасённые с шараш-

ки Марфино Анечкой Исаевой. Стал читать историю Французской революции. И — великих русских поэтов Двадцатого века. (Аля их чуть не целиком наизусть знает.)

Есть ещё полносилие, на что-то же мне дано. И душа — молодая. Почувствовать хоть на старость — и как жаль, что осталось мало лет. Все когда-то начатые нити — подхватить из оброна, довести до конца. Всё спеша и буравя вперёд тоннелями интуиции, сколько я оставил позади себя неосвоенных гор! А ведь: *tantum possumus, quantum scimus*. (Столько можем, сколько знаем.) Взлезть бы на такую обзорную площадку, откуда б видно на века назад и на полвека вперёд.

Живут и лет по́ сту, а всё будто к росту.

Так что отныне девиз: ни одного лишнего внешнего движения. Стянуться к самому себе и к главному в жизни. Помалчивать да поделявать.

Господи! да ведь условия для работы какие дивные — мог ли я когда мечтать?

«В тесноте Ты давал мне простор...»

Вермонт  
Весна 1987

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### [1]

#### ПИСЬМО ЕЛИЗАВЕТЕ II, КОРОЛЕВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Кавендиш, Вермонт  
3 января 1991

Ваше Величество!

В 1945 и 1946 годах правительство Великобритании и его военное командование, ведшее до того времени, кажется, войну за всеобщую свободу, — по тайному соглашению с администрацией Сталина передали на расправу ему десятки тысяч и даже сотни тысяч беженцев из СССР, бессильно сопротивлявшихся той предательской выдаче. С теми, кто не был расстрелян, я сидел в лагерях Гулага, они многие погибли там. Не все чины тогдашней британской администрации знали о ялтинском сговоре, но все ближайшие исполнители своими глазами видели закрайнее отчаяние выдаваемых, и даже самоубийства их. И никто из тех чинов (ни даже бригадир Тоби Лоу) не мог не понимать ужасного смысла совершаемого.

Эта массовая выдача людей на гибель положила тяжёлое пятно на британскую совесть и вековое, если не длительней, — на будущее русско-английское взаимопонимание. Ведь народы живут в других временных отрезках, нежели мы, отдельные люди. И туша совершённого предательства была ещё тем утяжелена, что свободная всезнающая британская пресса — тридцать лет не проронила даже звука о великом преступлении, и только тогда заговорила, когда разоблачения уже были сделаны вне Британии.

И вот дальний родственник Льва Толстого, как бы переняв мучительные поиски совести великого писателя, — Николай Толстой, в ком сошлись и русское происхождение и английская принадлежность, — расследовал, сколько было ему доступно, происшедшее и напечатал книгу «Жертвы Ялты», естественно назвав там и действовавших участников. Этим он совершил душевный подвиг в прояснении и ослаблении того мрачного узла, который был жестоко завязан между нашими народами в 1945 году.

А по одному из побочных, частных последствий от разоблачений, сделанных в книге Толстого, — он добровольно, безо всякой практической надобности, лишь

для утверждения истины, поставил себя под судебную ответственность. И английский суд, призванный же, как я понимаю, всегда соответствовать истине в её полном объёме? — поразительным образом присудил правдолюбца к небывалому штрафу в полтора миллиона фунтов стерлингов! — тем самым обрёк Толстого на банкротство, семью его на бедствия. Но тем самым как бы нанеся с британской стороны ещё один добивающий удар — по тем, погибшим в Гулаге. И тем самым — запугивая и всякого впредь, кто осмелился бы расшевелить пепел того послевоенного преступления. Таким образом, этот суд по своему смыслу оказался прямо обратен Нюрнбергскому процессу и выходит за рамки личных стараний непорочного истца получить свой судебный куш, прежде чем он отправится к Суду Вышнему.

Но тем более ясно, что уже и никогда позже ни об одном из участников того массового преступления не будет разыскана его вина. Итак, в Англии никто никогда не будет в том обвинён, никто никогда — наказан, а иные тем временем и награждены. Толпы беззащитных людей выданы на погибель — и никто не виноват. В СССР уничтожение миллионов людей долго называлось всего лишь «ошибкой» коммунистической партии. Неужели и в Англии всё минует под скромным обликом «послевоенной ошибки»?

Ваше Величество! В моём понимании монарх — не может быть равнодушен ни к чему, происходящему в его отечестве, и в высоком смысле несёт долю ответственности за всё, совершаемое в нём, даже когда лишён формального права направлять события. Разумеется, Вы не властны влиять на решения суда. Но Вы властны сделать какой-то моральный шаг, который дал бы всему новый свет. Я не знаю — какой именно, Ваша интуиция подскажет Вам верней. Если Вы дадите понять, где лежит Правда, — это движение Ваше не останется незамеченным в истории.

Примите моё высокое уважение.

Я хотел бы выразить мои самые добрые пожелания принцу Филиппу и принцу Чарльзу.

*Александр Солженицын.*

*(Публикация глав будет продолжена.)*

